

AP	В начало
	Электронные издания
	Библиотека
foto	Фотографии

Автобиография

Перевод с английского Т. Казавчинской, Н. Цыркун.

Часть первая 1872-1914

Пролог

Ради чего я живу

Всю мою жизнь пронизывали три страсти, простые, но неодолимые в своем могуществе: жажда любви, тяга к знанию и мучительное сочувствие к страданиям человечества. Как могучие ветры, носили они меня над пучиной боли, увлекая из стороны в сторону и порой доводя до отчаяния.

Я искал любви, прежде всего потому, что от нее душа кипит восторгом, безмерным восторгом - за несколько таких часов не жаль пожертвовать всей жизнью. Я искал любви и потому, что она прогоняет одиночество, страшное одиночество трепещущего сознания, чей взор устремлен за край Вселенной, в непостижимую безжизненную бездну. Наконец, я искал любви и потому, что в единении двух видел, словно на заставке таинственной рукописи, прообраз рая, открывавшегося поэтам и святым. Вот что я искал и вот что в конце концов обрел, хоть это и напоминает чудо.

С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства - понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда совсем немного, мне удалось понять.

Любовь и знания - когда они давались в руки - влекли меня наверх, к небесной выси, но сострадание возвращало вновь на землю. Крики боли эхом отдавались в сердце: голодающие дети, жертвы насилия, беспомощные старики, ставшие ненавистным бременем для собственных детей, весь этот мир, где бескрайнее одиночество, нищета и боль превращают человеческую жизнь в пародию на самое себя. Я так хотел умерить зло, но был не в силах, и я сам страдаю.

Такова была моя жизнь. Ее стоило жить, и если бы я мог, охотно прожил бы ее сначала.

ДЕТСТВО

Самое раннее сохранившееся у меня воспоминание - это приезд в феврале 1876 года в Пембрук-лодж. Точнее сказать, самого приезда я не помню, но помню огромную стеклянную крышу лондонского вокзала, скорее всего Паддингтонского (показавшегося мне несказанно прекрасным), откуда я отправился в путь. Из того первого дня в Пембрук-лодж мне особенно запомнилось чаепитие в комнате для слуг - просторной, пустой, с массивным длинным столом, такими же массивными стульями и высоким табуретом. Тут пила чай вся прислуга, кроме экономки, повара, горничной и дворецкого - так сказать, местной аристократии, собиравшейся в комнате у экономки. Меня усадили на высокий табурет, и ясно помню собственное удивление: отчего это слуги не сводят с меня глаз? В ту пору я не знал, что представляю собой судебный казус, над которым уже ломают голову и лорд-канцлер, и знаменитый королевский адвокат, и другие почтенные особы, как не знал до определенного возраста и об удивительных событиях, предшествовавших моему появлению в Пембрук-лодж.

Незадолго до этого мой отец лорд Эмберли умер после долгой болезни, исподволь подтачивавшей его силы. Мать и сестра скончались от дифтерита примерно полутора годами раньше. Моя мать была деятельной, живой, острой на язык, серьезной, оригинальной и бесстрашной - такой она предстала предо мной со страниц своих писем и дневника. Отец, обладавший философским складом ума, посвятил себя науке и был человеком не светским, болезненным и педантичным. Как друг и последователь Джона Стюарта Милля, он отстаивал контроль над рождаемостью и избирательное право для женщин. Взгляды эти разделяла и его жена. Отстаивая противозачаточные средства, он лишился места в парламенте, матери тоже не раз доставалось из-за ее радикальных воззрений. На приеме в саду в честь королевы Марии герцогиня Кембриджская при виде моей матери произнесла в полный голос: "Я знаю, кто вы. Вы невестка. Но сейчас вы говорите как грязные радикалы и грязные американцы. Весь Лондон судачит об этом, во всех клубах это обсуждают. Надо бы задрать вам подол и проверить, стираете ли вы свои нижние юбки". А вот письмо от британского консула во Флоренции, которое говорит само за себя:

22 сентября 1870 г.

Глубокоуважаемая леди Эмберли, я отнюдь не являюсь поклонником господина Мадзини. Напротив, его характер и принципы внушают мне брезгливость и омерзение. К тому же, как официальное лицо, я не могу служить посредником для передачи ему корреспонденции. Не желая, однако, проявлять по отношению к Вам неучтивость, я предпринял единственно возможный для себя шаг, чтобы доставить Ваше письмо по назначению, а именно - отправил его по почте на имя государственного прокурора Газеты.

Остаюсь преданный Вам Э. Паджет

У меня хранится принадлежавший Мадзини футляр для часов, который он подарил моей матери.

Она часто выступала с приветствиями на собраниях суфражисток и в одной из дневниковых записей отзывается о миссис Сидни Уэбб и леди Кортни - в связи с Поттеровской сестринской общиной - как о бабочках-однодневках. Впоследствии, познакомившись с миссис Сидни Уэбб, я ощутил огромное уважение к матери: какой требовательностью нужно было обладать, чтобы счесть миссис Уэбб ветреной особой! Однако из писем, адресованных ею, например, позитивисту Генри Крамтону, видно, что ей не чужда была известная игривость и кокетливость; наверное, к миру она обращалась менее хмурой своей стороной - не той, что поверяла дневнику.

Отец был вольнодумцем и работал над капитальным сочинением "Анализ религиозных верований", опубликованным посмертно. В его огромной библиотеке стояли книги по буддизму, труды по конфуцианству, патристика и многое другое. Почти все время он жил за городом и писал книгу. Но в начале супружества родители по несколько месяцев в году проводили в своем лондонском доме Динз-ярд. Мать и ее сестра миссис Джордж Хоуард (ставшая позднее леди Карлейль) держали соперничающие салоны. У миссис Хоуард можно было увидеть всех прерафаэлитов, а у матери - всех английских философов начиная с Милля.

В 1867 году мои родители побывали в Америке, где подружились со всеми бостонскими радикалами. Могли ли они предвидеть, что внуки и внучки тех самых пылких демократов обоего пола, чьим речам они рукоплескали и чьей победой над рабством восхищались, казнят Сакко и Ванцетти? Родители поженились в 1864 году, им было по двадцать два года. Как похвастал мой брат в своей автобиографии, на свет он появился через девять месяцев и четыре дня после свадьбы. Незадолго до моего рождения они переехали в совершенно безлюдное место, в дом, называвшийся тогда Рейвенскрофт (теперь - Клейдон-холл) и стоявший на крутом лесном холме, над обрывистыми берегами Уая. Именно оттуда, когда мне было три дня от роду, мама отправила следующий отчет своей матери: "В младенце восемь и три четверти фунта веса и двадцать один дюйм в длину, он очень толстый и уродливый и, как все говорят, очень похож на Фрэнка: такие же широко расставленные глаза и срезанный подбородок. Во время кормлений ведет себя совсем как Фрэнк. У меня сейчас много молока, но если ему не дать грудь сразу, или если у него газы, или что-нибудь еще такое, он впадает в ярость, верещит, сучит ногами и весь трясется от злости, пока его не успокоишь... Очень энергично задирает головку и водит глазками".

К моему брату пригласили в качестве учителя серьезного исследователя Д. Э. Сполдинга - во всяком случае, на него есть ссылка в "Психологии" Уильяма Джеймса. Он был дарвинистом, изучал инстинкты у цыплят, которым разрешалось - дабы облегчить ему научную задачу - безобразничать и гадить повсюду в доме, включая гостиную. Он страдал открытой формой туберкулеза и умер почти вслед за моим отцом. Основываясь, видимо, на чисто теоретических предположениях, родители решили, что хотя ему как туберкулезнику не следует иметь потомство, несправедливо было бы обречь его на воздержание. Посему мать предложила ему сожительство, хотя ни малейшего свидетельства о том, что это доставляло ей хоть маломальское удовольствие, я в ее бумагах не обнаружил. Такой порядок вещей продержался очень недолго, поскольку учрежден был вскоре после моего рождения, а мне едва исполнилось два года, когда матери не стало. Тем не менее отец и тогда не распрощался с учителем, а после его смерти выяснилось, что в завещании он назначил двух атеистов: учителя и Кобден-Сандерсона - опекунами своих сыновей, дабы уберечь их от ужасов религиозного воспитания. Но из его бумаг дедушка и бабушка дознались о том, что имело место между учителем и матерью, от чего, как истинные викторианцы, испытали шок. И решили, если потребуется, привести в действие закон, лишь бы вырвать невинных крошек из когтей безбожников. Злокозненные безбожники обратились за советом к сэру Хоресу Дейви (впоследствии лорду Дейви), который заверил их, что дело они проиграют - скорее всего, по аналогии с судебным процессом Шелли. Таким образом, мы с братом были определены под опеку канцлерского суда, и в день, о котором я уже рассказывал, Кобден-Сандерсон передал нас с братом дедушке и бабушке. Немудрено, что вся эта история подогрела интерес слуг к моей персоне.

Мать я совсем не помню, разве только осталось воспоминание о том, как я вываливаюсь из тележки, запряженной пони, что, надо думать, произошло в ее присутствии. Это подлинное воспоминание, а не абберация сознания, я долгие годы никому об этом не рассказывал и проверил лишь десятилетия спустя. В памяти живут только два моментальных впечатления, связанных с отцом: он дает мне страницу, где все напечатано красным, и красные буквы кажутся мне волшебными, а еще помню, как он принимает ванну. Согласно завещанию, родителей похоронили в нашем саду в Рейвенскрофте, но потом эксгумировали и перенесли в фамильный склеп в Чинис. За несколько дней до смерти отец написал своей матери следующее письмо.

Рейвенскрофт, в среду ночью

Дорогая моя мама,

Вам будет приятно узнать, что я намереваюсь приехать в Рэдклифф как только смогу, хотя причина промедления Вас не обрадует. У меня довольно противный приступ бронхита, который удержит меня еще некоторое время в постели. Ваше письмо, то, что написано карандашом, пришло сегодня, и из него я понял, что Вы тоже измучены, и огорчился. Но как я ни измотан, не писать я все равно не могу, так как мне не спится. Незачем и говорить, что приступ не опасный и я не думаю о плохих последствиях. Но, наученный горьким опытом, знаю, что болезнь порой прикидывается на миг совершенно невинной и готова запросить пощады, когда победы нет и в помине. У меня поражены оба легких, и положение может ухудшиться. Умоляю Вас не посылать телеграмм и вообще не предпринимать никаких поспешных действий. У нас теперь вместо Одленда чудесный молодой доктор, который ради собственной своей репутации - он только начинает практиковать в наших местах - сделает для меня все возможное. Повторяю, что надеюсь поправиться, но на случай печального исхода хочу сказать, что ожидаю смерти спокойно и без суеты, "Как тот, кто, завернувшись в одеяло, спокойно предается сладким снам".

О себе - никакой тревоги, даже сердце не трепещет, но очень горюю по нескольким людям, которых предстоит покинуть, и более всего - по Вам. Боль и слабость мешают мне найти подходящие слова, чтобы выразить, как глубоко я всегда ощущал Вашу неизменную и нерушимую любовь и доброту, даже тогда, когда, как могло казаться, ее не стоил. Безмерно сокрушаюсь, что порою вынужден был держаться резко, - ничего, кроме любви, я никогда не хотел Вам выказать. Я сделал очень мало из того, что собирался, но уповаю, что толика сделанного - не из худших. Умираю с чувством, что одно важное дело в жизни я успел завершить. С моими дорогими мальчиками, надеюсь, Вы будете видеться как можно чаще, и они будут относиться к Вам как к матери. Вы знаете, что похоронить меня следует тут, в моем любимом лесу, в том прелестном уголке, который уже давно меня поджидает. Вряд ли можно надеяться, что Вы будете присутствовать при погребении, но я очень бы желал того.

Наверное, очень эгоистично с моей стороны писать все это и причинять Вам боль; просто боюсь, что в другой раз буду слишком слаб, чтобы держать перо. Если смогу, буду писать ежедневно. От своего дорогого отца я во всю мою жизнь не видел ничего, кроме доброты и чуткости, за что искренне его благодарю. От всей души надеюсь, что на склоне долгой, достойно прожитой жизни он будет избавлен от горя утраты сына. Посылаю самые нежные слова любви Агате, Ролло и, если можно, бедному Уилли.

Ваш любящий сын Э.

Пембрук-лодж, где жили мои дедушка и бабушка, нескладный и невысокий всего в два этажа, - стоял в Ричмонд-парке. Право владения домом принадлежало царствующему монарху, и своим именем дворец был обязан леди Пембрук, к которой Георг III в годы своего помешательства питал нежные чувства. В 40-е годы королева предоставила его в пожизненное пользование моим дедушке и бабушке, и с тех пор они всегда там жили. Знаменитое заседание кабинета министров, описанное во

"Вторжением в Крым" Кинглейка, то самое, когда решался вопрос о Крымской войне и несколько министров проспали голосование, - происходило в Пембрук-лодж. Самого Кинглейка, впоследствии жившего в Ричмонде, я прекрасно помню. Как-то раз я спросил сэра Спенсера Уолпола, откуда у Кинглейка такая стойкая неприязнь к Наполеону III. "Из-за женщины", - последовал ответ. "Вы мне расскажете, что это была за история?" - естественно, оживился я. "Нет, сэр, - отрезал он, не расскажу". А вскоре он умер.

К Пембрук-лодж примыкало одиннадцать акров парка, по воле хозяев почти целиком находившегося в состоянии запустения. Первые восемнадцать лет моей жизни парк этот много значил для меня. К западу открывался необозримый вид, простиравшийся от Эпсомских холмов (как я думал, это о них говорилось в считалочке "По горам, по долам") до Виндзорского замка, а между ними располагались Хайндхед и Лит-хилл. Я с детства привык к далеким горизонтам, к шири закатного неба, беспрепятственно открывавшегося взору, и без них никогда потом не бывал по-настоящему счастлив. В парке росло много чудесных деревьев: дубы, березы, конские и съедобные каштаны, лаймы, изумительный кедр, криптомерии и гималайские кедры - дар индийских раджей. Беседку окружали заросли шиповника и ржавчинного лавра, а во множество укромных уголков можно было надежно спрятаться от взрослых, ничуть не опасаясь, что тебя найдут. Цветники были обсажены самшитовыми изгородями. За годы, что я прожил в Пембрук-лодж, парк окончательно одичал. Попадали большие деревья, кустарник переметнулся через дорожки, лужайки поросли высокой, пышной травой, изгороди превратились чуть ли не в рощи. И все же парк, казалось, не забыл свое бывшее величие, когда по его лужайкам гуляли послы иностранных государств, а принцы восхищались ухоженными клумбами. Парк жил в прошлом, а вместе с ним жил в прошлом и я. В голове у меня роились фантастические истории о родителях и сестре, воображение рисовало мне образ деда, молодого и энергичного. Разговоры, которые в моем присутствии вели взрослые, всегда были о прошлом: о том, как дедушка ездил к Наполеону на Эльбу, или как двоюродный дедушка моей бабушки дрался за Гибралтар во время американской Войны за независимость, или как бабушкиному дедушке устроили обструкцию в графстве, когда он высказал предположение, что мир был сотворен не за 4004 года до Рождества Христова, а раньше, иначе бы на склонах Этны не сохранилось столько лавы. Порой беседа касалась более свежих событий, вроде того, что Карлейль назвал Герберта Спенсера "абсолютным вакуумом" или что Дарвин был польщен визитом Гладстона. Родителей моих не было на свете, и я часто пытался угадать, что они были за люди. Я привык бродить по парку в полном одиночестве, то собирая птичьи яйца, то предаваясь размышлениям о том, что есть убегающее время. Сколько себя помню, важные, определяющие детские впечатления прояснялись в сознании как-то мимоходом, когда я играл или занимался своими детскими делами, и старшим я никогда ни о чем таком не проговаривался. Полагаю, что минуты и часы стихийного насыщения жизнью, когда юному существу ничего не навязывается извне, и есть самые для него важные, именно тогда закладываются вроде бы поверхностные, а на самом деле жизненно важные впечатления.

Дедушка запомнился мне восьмидесятилетним стариком, сидевшим в кресле на колесиках во время прогулок по парку либо читавшим Хансарда у себя в комнате. Когда он умер, мне было всего шесть лет от роду. Помню, как в день его смерти вдруг появилась наемная карета и оттуда вылез мой старший брат, хотя школьный семестр еще не кончился. Я завопил "ура!", и няня одернула меня: "Тише! Сегодня нельзя кричать "ура!" Из чего понятно, что дедушка не играл особой роли в моей жизни; другое дело бабушка, которая была на двадцать три года моложе его. На протяжении всего моего детства она оставалась главным для меня лицом. Она принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, в политике и религии придерживалась либеральных взглядов (семидесяти лет перешла в унитарную церковь), но во всем, что касалось морали, отличалась величайшей строгостью. Замуж за дедушку, вдовца с шестью детьми на руках - двумя родными и четырьмя пасынками, - она вышла молоденькой, стеснительной девушкой, а через несколько лет его назначили премьер-министром. Надо думать, для нее это оказалось тяжелым испытанием. Она рассказывала, как еще в ее девические годы поэт Роджерс на одном из своих знаменитых утренников дал ей совет, заметив ее робость: "Работай язычком. Тебе это пойдет на пользу!" Из ее рассказов было совершенно ясно, что она ни разу в жизни не испытала ничего хоть отдаленно напоминавшего влюбленность. Помню, однажды она призналась мне, что вздохнула с облегчением, когда во время медового месяца к ней приехала погостить мать. Помню также, как она однажды сетовала на то, что сотни поэтов потратили столько слов на такую избитую тему, как любовь. Но дедушке она была верной, преданной женой и, сколько могу судить, ни разу ни в чем не отступила от тех весьма специфических требований, которые налагал на нее статус.

Своих детей и внуков она окружала глубокой и не всегда разумной заботой. Думаю, ей было совершенно неведомо ощущение бьющей через край энергии, животной радости существования, она воспринимала жизнь сквозь флер викторианской сентиментальности. Помню, как я тщетно пытался ей объяснить, что невозможно требовать, чтобы у всех было удобное жилье, и одновременно протестовать против нового строительства по той причине, что оно оскорбляет взор. Для нее каждое чувство существовало по отдельности и имело свои неотъемлемые права, и отказаться от одного чувства ради другого из-за такой прозаической вещи, как элементарная логика, было выше ее сил. По меркам своего времени она получила хорошее образование и безупречно, без малейшего акцента говорила по-французски, по-немецки и по-итальянски; основательно изучила Шекспира, Мильтона, поэтов XVIII века; могла без запинки перечислить знаки зодиака и имена девяти муз; английскую историю, как водилось у виггов, помнила до мельчайших деталей; была начитана во французской, немецкой, итальянской классике; а начиная с 1830 года знала политику не понаслышке. Но умение рассуждать не входило в ее образование, и все, что требовало логического хода мысли, начисто отсутствовало в ее умственной деятельности. Она так и не смогла понять, как работают речные шлюзы, хотя самые разные люди пытались ей это растолковать. Она впитала в себя пуританскую мораль викторианства, и не было такой силы на свете, которая могла бы убедить ее, что человек, готовый при случае чертыхнуться, не обязательно пропащая личность. Однако правило не обходилось без отступлений. Она поддерживала знакомство с сестрами Берри, дружившими с Хоресом Уолполом, и однажды заметила - без малейшего осуждения! - что они "немного старомодны, любят вернуть крепкое словцо". Как и многие люди подобного склада, она столь же непоследовательно делала исключение для Байрона, которого считала жертвой несчастной юношеской любви. На Шелли ее терпимость не распространялась: жил в грехе и стихи писал слезливо-слащавые. Думаю, о Китсе она и слыхом не слыхала. Хорошо ориентируясь в мировой классике, заканчивавшейся для нее на Гёте и Шиллере, она понятия не имела о больших европейских писателях-современниках. Тургенев как-то подарил ей один из своих романов, но она его даже не раскрыла - Тургенев был для нее просто кузеном одной из приятельниц. Да-да, ей говорили, он пишет книги, но ведь кто только не пишет!

О современной психологии она, само собой, не имела ни малейшего представления. За кое-какими мотивами человеческого поведения она признавала право на существование: любовь к природе, забота об общественном благе, привязанность к детям - все это были добрые побуждения, а сребролюбие, властолюбие, тщеславие - дурные. Хорошие люди всегда руководствуются добрыми побуждениями, а плохие - плохими, однако и у плохих людей, даже очень, очень плохих, случаются временные просветления. Институт брака ставил ее в тупик. Понятно, долг мужа и жены - любить друг друга, но нехорошо, когда выполнение этого долга дается слишком легко, поэтому, если взаимное сексуальное влечение супругов слишком сильно, в этом есть что-то подозрительное, даже порочное. Разумеется, она не употребляла подобных выражений и буквально говорила вот что: "Знаешь, я никогда не считала супружескую привязанность таким же хорошим чувством, как

родительская любовь, потому что тут всегда есть что-то не то, какой-то привкус эгоизма". Дальше этого она не могла допустить в свой ум такой низменный предмет, как секс. Лишь однажды я слышал от нее чуть более откровенное высказывание на запретную тему, это когда она обронила, что "лорд Пальмерстон отличался от остальных мужчин тем, что был не совсем хорош... как мужчина". Она не любила вина, терпеть не могла табак и почти не ела мяса. Жизнь ее отличалась аскетизмом: она употребляла лишь самую простую пищу, завтракала в восемь часов утра и до восьмидесяти лет не позволяла себе нежиться в мягком кресле, разве только после вечернего чая. В ней совершенно не было ничего светского, и она презирала тех, кто питал слабость к светским почестям. Должен с сожалением отметить, что к королеве Виктории она не испытывала особого пиетета и всегда со смехом вспоминала, как однажды, когда ей стало плохо в Виндзорском замке, королева была так любезна, что отдала распоряжение: "Леди Рассел дозволяется сесть. Леди такая-то встанет так, чтобы заслонить ее".

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, ограниченность бабушкиных умственных горизонтов стала меня раздражать, а пуританские взгляды на мораль казаться крайностью. Но в детские годы на ее великую ко мне привязанность и неустанную заботу о моем благополучии я отвечал горячей любовью, и все это вместе давало мне великое чувство защищенности, столь необходимое детям. Помню, как я лежу в постели - мне года четыре, может быть, пять, и мысль о том, какой это будет ужас, когда бабушка умрет, не дает мне уснуть. Но когда она и в самом деле умерла - я был тогда уже женат, - я принял это как должное. Однако сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с возрастом я все больше ощущал, как сильно она повлияла на мое формирование. Ее бесстрашие, заботу об общественном благе, презрение к условностям, равнодушие к господствующему мнению я всегда вменял ей в заслугу, они вызывали у меня восхищение и желание подражать им. Бабушка подарила мне Библию, на форзаце которой написала свои любимые изречения, там было и такое: "Не следуй за большинством на зло". Благодаря этим словам, исполненным для нее особого смысла, я никогда не боялся оказаться среди тех, кто остается в меньшинстве.

Когда я был ребенком, в живых оставались две бабушкины сестры и четверо братьев, и все они время от времени гостили в Пембрук-лодж. О самом старшем, лорде Минто, помню лишь то, что называл его "дядя Уильям". Вторым по старшинству шел сэр Генри Эллиот, сделавший серьезную дипломатическую карьеру, однако о нем мало что сохранилось у меня в памяти. Третий, дядя Чарли, запомнился главным образом длинной вереницей титулов на адресованных ему конвертах, где он именовался "Достопочтенный сэр Чарльз Эллиот, адмирал, кавалер ордена Бани 2-й степени", и жил в Девонпорте. Мне объяснили, что дядя Чарли - контр-адмирал, а есть еще другой адмирал, более важный, который называется "адмирал флота"; меня это задело, я чувствовал, что должен как-то восстановить справедливость. самого младшего, Джорджа Эллиота, оставшегося холостяком, я называл "дядя Додди". Мое внимание всегда обращали на то, что внешне я очень походил на него (как и на бабушкиного деда, мистера Брайдона, того самого, который впал в предосудительную ересь из-за вышеупомянутой лавы на Этне), больше ничего примечательного в дяде Додди не было. О дяде Уильяме у меня осталось одно очень болезненное воспоминание. Как-то он приехал в Пембрук-лодж вечером дивного июньского, пронизанного солнцем дня, каждой минутой которого я буквально упивался, и перед сном, когда я подошел к нему пожелать спокойной ночи, он весьма серьезно уведомил меня, что способность человека к радости с возрастом убывает и я уже никогда в жизни не смогу радоваться летнему дню так же сильно, как сегодня. Из глаз моих брызнули слезы, и я долго не мог успокоиться и заснуть той ночью. Впоследствии я убедился, что то было не только жестокое, но и ложное умозаключение.

Окружавшие меня взрослые отличались редкостным непониманием силы детских чувств. Помню, как в четырехлетнем возрасте меня фотографировали в Ричмонде и фотограф, который никак не мог удержать меня на месте, в конце концов посулил бисквитное пирожное, если я перестану ерзать. До того дня я лишь однажды пробовал бисквитное пирожное, показавшееся мне истинной амброзией, поэтому я замер как мышь, и фотограф был в восторге. Вот только пирожного мне не досталось. Другой раз меня поразила фраза в разговоре взрослых: "Когда прибудет этот молодой лев?" Я тотчас наострил уши: "А разве к нам привезут льва?". - "Да, - заверили меня, - в воскресенье. Совсем ручной, он будет в гостиной". Я буквально считал дни и часы до воскресенья, а в воскресенье счет уже перешел на минуты. И вот молодой лев уже в гостиной, и можно пойти посмотреть на него. Наконец я там, и что же? Лев оказался самым обыкновенным молодым человеком по имени Лев. Не могу описать всей глубины моего разочарования, мне и сегодня больно вспоминать свое тогдашнее горе.

Но вернемся к семье моей бабушки. О ее сестре леди Элизабет Ромилли мне запомнилось лишь то, что от нее я впервые услышал о Редьярде Киплинге, чьи "Простые рассказы с гор" она обожала. Куда более колоритной фигурой была вторая сестра, леди Шарлотта Портал, которую я называл "тетя Лотти". О ней рассказывали, что в детстве она как-то свалилась с кровати и забормотала со сна: "Съехала подушка, и я низко пала". Рассказывали также, что, наслушавшись разговоров взрослых о сомнамбулизме, она ночью поднялась с кровати и стала бродить на манер лунатиков. Старшие, от которых не укрылось, что сна у нее нет ни в одном глазу, договорились не касаться этой темы. Наутро, так и не дождавшись ни слова о вчерашнем, она не выдержала и спросила: "Разве никто не видел, как я вчера ходила во сне?" Способность брехать глупости не изменила ей и в дальнейшем. Как-то раз ей потребовался кеб для троих седоков, и, решив, что двуколка маловата, а четырехколесный экипаж великоват, она распорядилась, чтобы лакей нанял трехколесную карету. В другой раз, когда она уезжала на континент и ее провожал тот же лакей по имени Джордж, она высунулась из окна в миг, когда тронулся поезд, и закричала: "Джордж, Джордж, как ваше имя?", потому что вспомнила в последнюю минуту, что ей, наверное, понадобится послать ему хозяйственные распоряжения, а она даже не знает, кому адресовать письмо. "Джордж, миледи", - отвечал он, но этого она, увы, уже не услышала.

Кроме бабушки, в Пембрук-лодж жили ее неженатые дети: дядя Ролло и тетя Агата. В мои первые сознательные годы дядя Ролло оказал на меня большое влияние, так как часто говорил со мной о науке, а эрудиция у него была огромная. Всю жизнь он страдал болезненной застенчивостью в столь тяжелой форме, что не мог заниматься какой-либо деятельностью, предполагавшей общение с другими людьми, но со мной, пока я оставался ребенком, чувствовал себя свободно и, случалось, обнаряживал вкус к диковинному юмору, о чем прочие члены семьи и не догадывались. Помню, как-то я спросил у него, почему в церквях не стекла, а витражи. Без тени улыбки он поведал, что прежде там были обычные стекла, но однажды взошедший на кафедру священник увидел через окно человека с ведром на голове, на которого вылилась вся побелка, потому что у ведра вылетело дно. У бедного священника это вызвало такой неудержимый приступ хохота, что от проповеди пришлось отказаться; вот так в церквях и появились витражи. Когда-то дядя служил в министерстве иностранных дел, но потом у него ухудшилось зрение, и в пору, когда я знал его, он не мог ни читать, ни писать. Через некоторое время зрение восстановилось, но он уже больше не пытался поступить на регулярную службу. По профессии он был метеорологом, ему принадлежат ценные выводы о связи между извержением вулкана Кракатау в 1883 году и наблюдавшимися после этого в Англии закатами необычной окраски, а также голубым цветом луны. Он не раз излагал мне свою систему доказательств, и всякий раз я слушал его как зачарованный. В первую очередь благодаря этим беседам во мне проснулся интерес к науке.

Из окружавших меня в Пембрук-лодж взрослых молодежь была такая тетка Агата. Когда меня туда привезли, ей исполнилось двадцать два года, разница между нами составляла всего девятнадцать лет. В первые годы моего там пребывания она не раз пыталась заниматься моим обучением, но без особого успеха. У нее было три цветных мяча: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-синий. Взяв в руки красный, она спрашивала: "Какого цвета этот мяч?" Я отвечал: "Желтый". Тогда она подносила его к клетке с канарейкой и спрашивала: "Разве он такой же, как канарейка?" - "Нет", - отвечал я. Но так как я не знал, какого цвета канарейка, это не помогало. Постепенно я научился различать цвета, но в памяти осталось только то время, когда мне это не давалось. Потом она пыталась учить меня чтению, однако это было выше моего разума. За время наших занятий я научился читать только одно слово: "или". Другие слова, такие же короткие, никак не запоминались. Должно быть, она отчаялась чего-нибудь добиться, потому что в пять лет без малого меня отдали в детский сад, где я и освоил наконец нелегкое искусство чтения. Когда мне исполнилось лет шесть-семь, она снова принялась за меня и стала учить английской конституционной истории, которой я очень интересовался. По сей день помню многое из того, что она говорила.

У меня до сих пор хранится маленькая записная книжечка, куда я заносил под ее диктовку вопросы и ответы. Применяемый ею метод легко продемонстрировать на следующем примере.

Вопрос. Из-за чего спорили король Генрих II и Томас Бекет?

Ответ. Генрих желал положить конец злу, вызываемому тем, что епископы творили собственный суд и церковное право в стране существовало отдельно от обычного. Бекет отказывался ослабить власть епископальных судов, но в конце концов его склонили признать Кларендонские конституции (далее излагались соответствующие конституционные положения).

Вопрос. Пытался ли Генрих II улучшить управление страной?

Ответ. Да, в период своего многотрудного правления он не оставлял забот о реформировании закона. При нем возросла роль выездных судов, в графствах производились не только слушания денежных тяжб, но разбирались жалобы и выносились судебные решения. Именно благодаря реформам Генриха II появились первые ростки того, что превратилось впоследствии в суд присяжных.

Об убийстве Бекета не говорится ни слова. Казнь Карла I упоминается без малейшего осуждения.

Тетя Агата так и не вышла замуж, хотя когда-то была помолвлена с викарием, но помолвку пришлось разорвать из-за того, что у невесты возникли навязчивые состояния. У нее появилась маниакальная скупость: в своем просторном доме она пользовалась лишь несколькими комнатами ради экономии угля и по тем же соображениям принимала ванну только раз в неделю. Она всегда носила толстые шерстяные чулки, вечно собиравшиеся складками на щиколотках, и то и дело произносила прочувствованные речи о добродетелях одних и пороках других совершенно призрачных личностей, существовавших лишь в ее воображении. Она ненавидела моих жен и жен моего брата все то время, пока мы были на них женаты, и начинала обожать их, едва мы с ними расстались. Когда я впервые привел к ней мою вторую жену, она выставила на каминной полке снимок ее предшественницы и сказала со вздохом: "Вот смотрю я на вас, а на ум поневоле приходит Элис, и думаю, что это будет, если Берти, не дай Бог, вас тоже бросит". Мой брат как-то сказал ей: "Тетушка, вы всегда отстае на одну жену", что ее ничуть не рассердило, а лишь безумно насмешило, и она потом всем пересказывала его шутку. Те, кто считал ее слабоумной и сентиментальной, не могли прийти в себя от изумления, когда она вдруг, почувствовав себя в ударе, проявляла недюжинную проницательность и остроумие. Она пала жертвой благочестия моей бабушки, внушившей ей, что секс предосудителен, и если бы не это, скорей всего, стала бы счастливой, дельной, энергичной женой какого-нибудь достойного человека.

Брат был семью годами старше меня и не очень годился мне в товарищи. Дома он появлялся лишь в каникулы и праздники, когда освобождался от школы. Как и положено младшему брату, я относился к нему с обожанием и в первые дни после его приезда не помнил себя от радости, но еще через несколько дней начинал мечтать, чтобы каникулы поскорее кончились. Он постоянно дразнил и задира меня, правда довольно добродушно. Помню, мне было лет шесть, когда он заорал во все горло, подзывая меня: "Малышка!" Я не подал виду, что слышу, - в конце концов, меня звали иначе. Потом он объяснил, что раздобыл кисть винограда и хотел угостить меня, а так как мне ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разрешалось есть фрукты, удар был нешуточный. Еще в доме имелся маленький колокольчик, который я считал своим, но, возвращая его, брат всякий раз напоминал, что это его колокольчик, и снова отнимал у меня, хотя был слишком большим, чтобы получать удовольствие от детских игрушек. Брат вырос, но колокольчик еще долго хранился у него и если ненароком попадался мне на глаза, меня охватывало негодование. Из переписки родителей ясно, что брат доставлял им много огорчений, но мама его хотя бы понимала - характером и внешностью он пошел в Стэнли, тогда как для Расселов он был загадкой, и с первых же шагов они считали его исчадием ада. Почувствовав, чего от него ждут, он, вполне естественно, стал вести себя в соответствии со своей репутацией. Родственники из кожи вон лезли, стараясь держать меня подальше от него, и я очень огорчился, когда стал это понимать. Он обладал способностью заполнять собой все пространство, и у меня быстро появлялось чувство, будто рядом с ним я задыхаюсь. До самой своей смерти он внушал мне смешанное чувство любви и страха. Он страстно желал любви, но из-за крайней неуживчивости никогда не мог ее удержать, а утратив очередную привязанность, страшно страдал, и оттого, что сердце его обливалось кровью, делался жесток и неразборчив в средствах, но за всеми, даже самыми худшими его поступками лежали движения сердца.

В ранние детские годы слуги значили для меня много больше, чем родственники. Экономка по имени миссис Кокс служила младшей нянькой моей бабушки, еще когда та была крошкой. Прямая, энергичная, строгая и очень преданная нашей семье, она неизменно оказывала мне доброту. Должность дворецкого занимал типичный шотландец по имени Макалпайн. Он, бывало, сажал меня к себе на колени и читал вслух газетные репортажи о железнодорожных катастрофах. Завидев его, я тотчас залезал к нему на колени и требовал: "Еще про катастрофы". Была в доме и кухарка-француженка по имени Мишо, довольно устрашающая особа, но несмотря на трепет, который она мне внушала, я все равно пробирался на кухню полюбоваться, как вращается насаженное на старинный вертел мясо, и стянуть из солонки комочек-другой соли, которую любил больше сахара. Она гонялась за мной с большим мясным ножом в руке, но увернуться ничего не стоило. За стенами дома можно было встретить садовника Макроби, о котором я почти ничего не помню, потому что он уволился, когда мне было пять лет, а также смотрителя и его жену, мистера и миссис Синглтон; я очень любил их за то, что они всегда угощали меня печеными яблоками и пивом, нарушая тем самым сторожайший запрет, под которым находились оба лакомства. Место Макроби занял садовник по имени Видлер, он с первой минуты огорошил меня тем, что англичане - отложившиеся десять колен Израилевых, и я, конечно, не мог понять, о чем он толкует. Сначала, когда я только приехал в Пембрук-лодж, ко мне приставили немецкую бонну мисс Хетшел, хотя я уже говорил по-немецки так же свободно, как по-английски. Буквально через несколько дней после моего приезда она отбыла, а вместо нее появилась другая немецкая бонна, прозывавшаяся

Вильгельмина или, сокращенно, Мина. Мне живо помнится, как в свой первый вечер в доме она купала меня в ванне, а я на всякий случай решил не шевелиться и стоять как статуя - кто знает, чего от нее можно ожидать? Дело кончилось тем, что ей пришлось позвать на помощь слуг, потому что я не давал себя намылить. Впрочем, вскоре я к ней привязался. Она учила меня выводить буквы немецкого алфавита, сначала прописные, потом строчные, и когда мы дошли до конца алфавита, я сказал: "Теперь еще надо выучиться писать цифры" - и очень удивился и обрадовался, когда узнал, что они такие же, как в английском. Ей случилось дать мне шлепок, помню даже, как я плакал в таких случаях, но мне и в голову не приходило озлобиться и решить, что теперь мы враги. Она оставалась у нас до моего шестилетия. У меня тогда была еще няня Ада, которая по утрам, пока я лежал в постели, разводила огонь в камине, и мне всегда хотелось, чтобы она подольше не подбрасывала уголь, потому что мне нравились потрескивание и разноцветные огненные вспышки загорающих дров. Няня спала со мной в детской, но я совершенно не помню, чтобы она раздевалась или одевалась в моем присутствии, - пусть фрейдисты толкуют это как угодно.

В детские и отроческие годы меня кормили по-спартански, причем ограничения были так велики, что с точки зрения современных норм рационального питания составляли угрозу для здоровья. Некая пожилая дама, мадам д'Этчегойан, племянница Талейрана, жившая по соседству с нами в Ричмонде, имела обыкновение дарить мне огромные коробки восхитительных шоколадных конфет, но мне разрешалось съесть одну штучку в воскресенье, зато и в будни и в праздники в мои обязанности входило обносить ими взрослых. Я любил крошить хлеб в подливку, что позволялось делать только в детской, но никак не в столовой. Нередко я спал перед обедом, и если мой дневной сон затягивался, обед подавали в детской, а если просыпался вовремя, обедал в столовой. Зачастую я притворялся спящим, чтобы не ходить обедать со всеми. В конце концов взрослые догадались о моем притворстве и в один прекрасный день, когда я еще лежал в постели, стали меня ошупывать. Я замер, воображая, что именно так, в полном оцепенении, лежат спящие, но, к своему ужасу, услышал: "Он не спит, лежит как каменный". Никто так и не узнал причину моего лицедейства. Помню такой случай: за обедом после смены тарелок всем, кроме меня, подали по апельсину. Мне не разрешалось есть апельсины в силу неколебимой уверенности взрослых в том, что фрукты вредят здоровью детей. Я знал, что нельзя просить апельсин, это была бы дерзость, но поскольку передо мной тоже поставили тарелку, я рискнул посоветовать: "Тарелка есть, а на ней - ничего". Все засмеялись, но апельсина я все равно не получил. Мне не давали фруктов, практически не давали сахара, зато перекармливали другими углеводами. И все-таки в детстве я не болел ни единого дня и из всех детских болезней перенес в одиннадцать лет только корь в слабой форме. Впоследствии, когда у меня проснулся интерес к детям в связи с тем, что у меня появились собственные, я ни разу не видал такого здорового ребенка, каким был сам, и все же не сомневаюсь, что любой современный педиатр-диетолог нашел бы у меня кучу разных болезней, развившихся из-за неполноценного питания. Возможно, меня спасало то, что я ел украдкой кислые яблоки с дичков; конечно, если бы это открылось, взрослые упали бы в обморок и поднялся бы переполох. Моя первая ложь также была продиктована инстинктом самосохранения. Гувернантке пришлось оставить меня на полчаса одного, и, уходя, она мне строго наказала ни под каким видом не есть ежевику. Когда она вернулась, я стоял в подозрительной близости к веткам. "Ты лакомился ягодами", - упрекнула она меня. "Вот и нет", - попробовал отпереться я. "А ну, покажи язык", - потребовала она. Мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя совершенно испорченным мальчиком.

У меня было особое, невероятно обостренное чувство греха. В детстве на вопрос, какой гимн мне больше всего нравится, я ответил: "В тщете земной, под бременем греха моего". Как-то раз бабушка после семейной молитвы прочла притчу о блудном сыне и когда закончила, я сказал: "Я знаю, ты это выбрала потому, что я разбил кувшин". Впоследствии она любила вспоминать этот семейный анекдот, чтобы посмешить слушателей, не отдавая себе отчета в том, что подобная болезненная впечатлительность, имевшая поистине трагические последствия для ее детей, была делом ее собственных рук.

Если не все, то многое из того, что отложилось в детской памяти, было связано с унижением. В 1877 году дедушка и бабушка сняли на лето Стоун-хаус, дом архиепископа Кентерберийского, находившийся неподалеку от Бродстайерза. Мне показалось, что мы ужасно долго едем в поезде и, наверное, уже добрались до Шотландии, поэтому я спросил: "Мы сейчас в какой стране?" Все стали надо мной смеяться: "Он не знает, что из Англии никуда нельзя попасть иначе как по морю!" Я не осмелился сказать что-либо в свое оправдание, так и сидел, сгорая от стыда. Как-то раз, когда мы уже жили в этом архиепископском доме, я пошел к морю с бабушкой и тетей Агатой. На мне были новенькие ботинки, и когда мы выходили на прогулку, последнее нянино напутствие было: "Не промочи обновку!" Я стоял на камне, и вдруг начался прилив. Бабушка и тетя закричали, чтобы я шагнул в воду и шел к берегу, но ведь я не мог замочить ботинки, а потому стоял и стоял, пока тетя сама не прошла по воде и не сняла меня с камня. Тетя и бабушка решили, что я испугался, и стали стыдить меня за трусость, а я, не желая признаваться, что повиновался няниному наказу, ничего им не сказал.

Но в целом жить в Стоун-хаусе было очень приятно. Мне вспоминается северный Форланд, о котором я думал тогда, что это один из четырех углов Англии, ибо ее территорию я представлял себе как прямоугольник. Вспоминаются руины Ричборо, очень будоражившие мое воображение, и сама *obscura* в Ремсгейте, возбуждавшая у меня еще более жгучий интерес. Вспоминаются поля с волнующимися хлебами - к величайшему моему сожалению, когда я вернулся туда тридцать лет спустя, от всего этого великолепия ничего не осталось. Вспоминаются, конечно, все удовольствия, связанные с морем: блюдечки, актинии, прибрежные скалы, песчаный берег, рыбацьи лодки, маяки. Меня поразило, что блюдечки, когда их пытаешься оторвать от скалы, прилипают еще сильнее, и я спросил у Агаты: "Тетя, а блюдечки умеют думать?" - "Не знаю", - ответила она. "Надо знать", - возмутился я. Плохо помню, как произошло знакомство с моим другом Уайтхедом, но мне рассказывали, что случилось это при следующих обстоятельствах. Когда мне сообщили, что земля круглая, и я не поверил этому, мои родственники обратились за поддержкой к местному приходскому священнику, а им был отец Уайтхеда. Склонившись перед авторитетом церкви, я принял общепринятую точку зрения и немедленно принялся рыть в песке ход к антиподам. Сам я ничего этого не помню, но слышал от старших.

В то лето в Бродстайерзе меня повели в гости к сэру Мозесу Монтефиори, старому и необыкновенно почтенному еврею, жившему по соседству (в энциклопедии написано, что он вышел в отставку в 1824 году). Так я впервые узнал, что евреи есть не только в Библии. Прежде чем отвести меня к старику, бабушка долго и терпеливо объясняла, какой это достойный и заслуженный человек и как плохо было раньше, когда евреи были лишены элементарных гражданских прав, и как много сделали сэр Монтефиори и дедушка, чтобы это исправить. В данном случае бабушкины поучения отличались предельной ясностью, но порой оставляли меня в величайшем недоумении. Она была яростной сторонницей "малой Англии" и сурово порицала колониальные войны; объясняла, что война с зулусами - позор и ответственность за нее несет прежде всего сэр Бартл Фрер, губернатор Кейпа. Но когда он приехал в Уимблдон и она повела меня с ним знакомиться, она держалась с ним так любезно, что никто бы не заподозрил, какого она о нем чудовищного мнения. Все это было совершенно непонятно.

Бабушка обычно читала мне вслух, и чаще всего - повести Марии Эджуорт. Одну историю, которая называлась "Подделанный ключ", она пропустила, объяснив, что детям читать ее не стоит. Но я все равно прочел этот самый "Ключ" - читал по одному

предложению за раз, пока шел от книжной полки до места, где поджидала бабушка. Вообще ее попытки оградить меня от жизни редко увенчивались успехом. Помню, когда я уже был постарше, в прессе освещался скандальный бракоразводный процесс некоего Чарльза Дилка, и все это время она из предосторожности ежедневно сжигала газету. Но так как приносить ей газету входило в мои обязанности, я всегда поджидал почтальона у ворот парка и в результате не упустил ни слова из репортажей о процессе. Эта история меня особенно интриговала, потому что вышеупомянутый Дилк бывал в нашей церкви, и мне было интересно, что он чувствует, когда оглашают седьмую заповедь. Позднее я сам стал читать бабушке вслух и таким образом познакомился с огромным количеством английской классики: с Шекспиром, Мильтоном, Драйденом, "Задачей" Каупера, "Замком праздности" Томсона, Джейн Остен и множеством других книг, входивших в обязательное чтение.

В "Викторианском детстве" Амабел Хут Джексон (урожденной Грант Дафф) есть страницы, прекрасно передающие атмосферу Пембрук-лодж. Ее отец сэр Маунтсьюарт Грант Дафф жил с семьей в большом доме в Туикнеме. Мы с Амабел дружили с четырехлетнего возраста и до самой ее смерти во время второй мировой войны. От нее я впервые услышал о Верлене, Достоевском, немецких романтиках и других замечательных писателях. Но ее воспоминания касаются более ранних лет. Она пишет:

Из мальчиков я дружила только с Бертраном Расселом, который жил со своей бабушкой, старой леди Рассел, вдовой лорда Джона, в Пембрук-лодж, стоявшем в Ричмонд-парке. Мы с Берти во всем были заодно, но тайне я восхищалась его старшим братом Фрэнком, очень красивым и талантливым юношей. Однако с огорчением должна признаться, что Фрэнк относился к маленьким девочкам так же, как мой старший брат, и имел обыкновение привязывать меня за косы к стволу дерева. Тогда как Берти, серьезный маленький мальчик в синем бархатном костюмчике, с такой же серьезной гувернанткой, был неизменно добр ко мне, и я очень любила приходить в Пембрук-лодж на чай. Но даже тогда я ощущала, какое это неподходящее место для маленьких детей. Леди Рассел всегда говорила полушепотом, а леди Агата, не расстававшаяся с белой шалью, всегда выглядела понурой; Ролло Рассел никогда не открывал рта, только здоровался за руку, да так, будто хотел переломать вам кости, хотя ничего плохого не имел в виду. Все они выплывали из комнат, как призраки, и, казалось, никогда не испытывали чувства голода. Странное это было место для двух совсем юных и невероятно талантливых мальчиков.

Почти все детство я большую часть дня гулял в саду в полном одиночестве и поэтому самые яркие жизненные впечатления переживал наедине. Крайне редко делился я с кем-нибудь своими сокровенными мыслями, а если и случалось, то потом непременно жалел об этом. В саду я знал каждый уголок: в одном месте меня ждали по весне белые примулы, в другом - гнездо горихвостки, в третьем - цветы акации, выглядывавшие из путаницы плюща. Я знал, где найти первые колокольчики, какие дубы раньше покрываются листвой. До сих пор помню, что в 1878 году на одном из них листья проклюнулись уже 14 апреля. Я любил наблюдать, как к росшим под моим окном двум пирамидальным тополям - каждый футов сто высотой - подкрадывается на закате тень дома. Просыпался я обычно рано и порой видел, как в небе появляется Венера, а однажды принял ее за мерцающий в лесу фонарь. Почти не бывало, чтобы я пропустил восход солнца, а в ясные апрельские деньки, выскальзывая из дому на рассвете, успевал как следует размять ноги перед завтраком. Я видел, как солнце окрашивает землю в пурпур и золотит облака, слушал ветер, упивался вспышками молнии. Однако с годами росло мучительное чувство безысходности, и при мысли, что я не найду людей, с которыми смогу говорить откровенно, на меня накатывало отчаяние. И все же природа, книги и математика (правда, это уже позже) спасали меня от безысходного уныния.

(...)

Мы с Элис две осени подряд ездили в Венецию, с тех пор я знаю там чуть ли не каждый камень. Со дня моей свадьбы и до начала первой мировой войны, пожалуй, не проходило года, чтобы я не побывал в Италии. Я исходил ее пешком, объездил на велосипеде, как-то раз плавал у ее берегов на трамповом судне, заходившем в каждый порт между Венецией и Генуей. Особенно по душе мне были маленькие, труднодоступные городки и горные виды в Апеннинах. Но разразилась первая мировая война, и так случилось, что я вернулся в Италию лишь в 1949 году. В 1922 году я собирался туда на конгресс, но Муссолини, тогда еще не совершивший свой *coup d'etat**, послал предупреждение организаторам, что хотя, пока я буду в Италии, с моей головы не упадет ни волоса, всех итальянцев, замеченных в общении со мной, предадут смерти. Я не желал оставлять за собой кровавый след и перестал ездить в оскверненную им страну, как ни любил ее.

(* Государственный переворот (франц..))

(...)

Осенью 1899 года разразилась англо-бурская война. В то время я был либералом-империалистом и поначалу бурамнисколько не сочувствовал. Поражения Британии внушали мне немалую тревогу, я не мог ни о чем думать, кроме новостей с театра военных действий. Жили мы тогда в "Ветряке", и днем я проделывал четыре мили пешком до станции за вчерашним выпуском вечерней газеты. Элис как американка довольно прохладно воспринимала происходящее и сердилась, что меня это так занимает. Когда буры стали проигрывать, мой интерес к войне поубавился, а в 1901 году я уже поддерживал буров.

(...)

На весенний триместр 1901 года мы вместе с Уайтхедами сняли дом профессора Мейтланда в Даунинг-колледже, а сам профессор поехал на Мадейру поправлять расстроенное здоровье. Его экономка сообщила нам, что он "вконец высох, а все из-за сухарей — ничего, кроме них, в рот не брал", но, полагаю, это не совсем точно отражало медицинскую суть дела. Миссис Уайтхед на глазах превращалась в хроническую больную, все учащавшиеся у нее сердечные приступы сопровождались острой болью. Мы трое, Уайтхед, Элис и я, страшно беспокоились о ней. Уайтхед не только бесконечно любил ее, но и был совершенно не приспособлен к жизни: как мы понимали, он вряд ли смог бы серьезно работать, оставшись один. Как-то вечером в Ньюеме приехал Гилберт Марри* почитать отрывки из своего тогда еще не опубликованного перевода "Ипполита". Мы с Элис пошли его послушать, и меня очень взволновали прекрасные стихи. Возвратившись, мы застали миссис Уайтхед в страшных мучениях, в тот день у нее случился какой-то особенно сильный приступ. Казалось, она была отрезана от остального мира стеной боли, и вдруг на меня навалилась страшная тоска: я понял, как безысходно одинока каждая человеческая душа. Со времени женитьбы моя эмоциональная жизнь протекала ровно и гладко; довольствуясь поверхностной игрой ума, я забыл о существовании более важных предметов. Внезапно словно земля разверзлась под ногами, мысленно я перенесся в совсем иные сферы. За какие-нибудь пять минут я успел понять примерно следующее: человеческое

одиночество невыносимо; ничто не может сквозь него прорваться, кроме любви того высочайшего накала, какую проповедают религиозные учителя; все, что идет не от нее, либо приносит вред, либо, в лучшем случае, не помогает; значит, войны бесполезны; закрытые школы омерзительны; от применения силы надо отказаться; а отношения между людьми нужно строить так, чтобы проникнуть в самую сердцевину человеческого одиночества и воззвать к нему. В комнате был младший сын Уайтхедов, мальчик лет трех, на которого я никогда прежде не обращал внимания, как и он на меня. Нужно было увести его, чтобы он не теребил мать, и без того терзавшую болью. Я взял его за руку — он охотно повиновался, сразу успокоился, и мы ушли. С тех пор и до самой смерти, постигшей его в 1918 году на войне, мы оставались друзьями.

(* Гилберт Марри (1866—1957) — английский ученый-классик, известен своими переводами античных трагедий.)

За пять минут я стал совсем другим человеком. Некоторое время потом я еще ощущал нечто вроде мистического озарения. Мною владело чувство, будто я знаю самые сокровенные мысли всех попадавшихся на пути прохожих, и хотя это, несомненно, было иллюзией, я и в самом деле стал гораздо ближе ко всем моим друзьям и знакомым. Из империалиста я за пять минут превратился в пацифиста и сторонника буров. В течение многих лет я превыше всего ценил точность и аналитичность и вдруг вспылал полумистическим восторгом перед красотой, преисполнился сильнейшим интересом к детям и загорелся, подобно Будде, величайшим желанием создать философию, способную облегчить человеческую жизнь. Голова горела как в лихорадке, к страданиям примешивалась доля торжества — я ощущал, что могу, совладав с ними, превратить их, как я надеялся, во врата мудрости. Когда пережитое мной просветление — как я считал, мистической природы — почти совсем рассеялось, во мне заговорила застарелая привычка к аналитическому мышлению. И все же многое из того, что я тогда ощутил как откровение, осталось со мной навсегда: отношение к первой мировой войне, интерес к детям, равнодушие к мелким неприятностям, особая эмоциональная тональность, которой с тех пор окрашено мое общение с другими людьми, — все это оттуда.

(...)

В те годы зиму я обычно посвящал политике. Когда Джозеф Чемберлен стал защитником протекционизма, я осознал себя ярким сторонником свободы торговли. Влияние Хьюинса, нацеливавшего меня на империализм и империалистический таможенный союз с Германией, испарилось в ту самую минуту, когда произошел мой душевный кризис и я стал пацифистом. Тем не менее в 1902 году я вступил в небольшой клуб под названием "Сподвижники", организованный Сидни Уэббом с целью обсуждения политических вопросов с более или менее империалистической точки зрения. Именно там я впервые встретился с Гербертом Уэллсом, о котором до тех пор не имел ни малейшего понятия. Его позиция была мне ближе всех в этом собрании. По правде говоря, остальные шокировали меня до глубины души. Помню сверкающие, налитые кровью глаза Эймери во время обсуждения войны с Америкой, на которую "мы пошлем все взрослое мужское население страны", захлебываясь от возбуждения, говорил он. Другой раз сэр Эдвард Грей* (тогда еще не получивший министерского портфеля) произнес речь в защиту Антанты, не дожидаясь официального правительственного решения по этому вопросу. Я привел исчерпывающие доводы против подобной политики, указав, что она чревата войной, и когда никто из присутствовавших меня не поддержал, отказался от членства. Из чего ясно, что мой протест против первой мировой войны был заявлен на самой ранней стадии, какую только можно помыслить. Затем я принялся отстаивать свободную торговлю и Союз свободной торговли. У меня совершенно отсутствовал опыт выступлений перед широкой публикой, и вначале я так терялся и нервничал, что слова мои словно падали в вату, но со временем научился владеть собой. Когда прошли выборы 1906 года и протекционизм перестал быть самым глущим политическим вопросом дня, я обратился к проблеме женского избирательного права. Как пацифист я недолюбливал крайних и всегда сотрудничал с партией конституционалистов. В 1907 году на дополнительных выборах я даже баллотировался в парламент, чтобы отстаивать там право голоса для женщин. Уимблдонская кампания протекала бурно и закончилась молниеносно. Молодому поколению сейчас трудно вообразить, какой бешеный афронт вызвала идея женского равноправия. Когда спустя несколько лет мне довелось вести кампанию против первой мировой войны, оказываемое сопротивление было куда слабее той бури страстей, какой встретили в 1907 году суфражисток. Большинство населения страны воспринимало саму проблему издевательски, как повод для бурного веселья. Из толпы неслись глумливые выкрики вроде "Давай домой, у тебя там детки плачут!" — это в адрес женщин, а мужчинам независимо от возраста предназначалось: "А ты сказал мамаше, куда пошел?" и тому подобное. В нас швыряли тухлыми яйцами, одно угодило в Элис. Во время моего первого выступления в толпу выпустили крыс, чтобы поднять переполох среди женщин, часть которых участвовала в сговоре и визжала от хорошо разыгранного испуга, дабы продемонстрировать, чего на самом деле стоит их пол. <...> Можно понять неистовство мужчин, почуявших угрозу для своего превосходства, но отчаянное цепляние многих женщин за прошлое, когда к ним, как и ко всему их полу, относились наплевательски, остается для меня загадкой. Никогда не слышал, чтобы американские негры или русские крепостные прибегали к насильственным методам протеста против их собственного освобождения! Самой известной противницей политических прав женщин была королева Виктория. Я стал страстным поборником женского равноправия с юности, с тех самых пор, когда прочел то, что писал об этом Милль. А его я прочел за несколько лет до того, как узнал, что моя мать в 60-е годы возглавляла кампании в защиту женского избирательного права. Мало что на свете кажется мне более странным, чем стремительная и полная победа этого движения во всем цивилизованном мире.

(* Эдвард Грей (1862—1933) — английский государственный деятель.)

Со временем я пришел к заключению, что получить ограниченное избирательное право для женщин, являвшееся первоначальной целью кампании, стоило бы больших трудов, чем полное, так как полное было на руку либералам, которые тогда находились у власти. Крайние суфражистки возражали против признания полного варианта избирательного права на том основании, что тогда принцип равноправия не будет соблюден во всех пунктах, ибо, хотя большее количество женщин приобретет право голоса, они получат его на несколько иных условиях, чем мужчины. Из-за этой позиции ортодоксальных суфражисток я в конце концов порвал с ними и примкнул к основной фракции, отстаивавшей право для всех женщин, достигших совершеннолетия. Эту группу организовала Маргарет Дэвис (сестра Крамтона и Теодора), а возглавил Артур Хендерсон*. Я тогда все еще был либералом и пытался убедить себя, будто Артур всех сбивает с толку, но как-то ничего у меня из этого не получалось.

(...)

Сидни и Беатрис Уэбб*, с которыми я близко дружил в течение многих лет, а иногда даже и вместе жил, являли собой самую гармоничную супружескую пару, какую мне только доводилось видеть. Однако романтическое отношение к любви и браку внушало им едва ли не гадливость: брак был одной из социальных институций, предназначенной направлять инстинкт в русло закона. Первые десять лет совместной жизни миссис Уэбб время от времени роняла: "Брак — это мусорная корзина для эмоций". Позже наметились кое-какие перемены. Приглашая на уик-энды какую-нибудь супружескую чету и совершая в воскресенье короткую бодрящую прогулку парами — Беатрис с гостем, Сидни с гостьей, — Сидни в какую-то минуту произносил: "Я знаю, что сейчас говорит Беатрис. Она говорит: 'Как всегда повторяет Сидни, брак — это мусорная корзина для эмоций' ". Принадлежало ли исконно это изречение Сидни, покрыто мраком неизвестности.

(* Супруги Сидни (1859—1947) и Беатрис (1858—1943) Уэбб — английские экономисты и историки; Сидни Уэбб — один из организаторов Фабианского общества.)

С Сидни я познакомился еще до его женитьбы на Беатрис. Тогда он представлял собой величину гораздо меньшую, чем половина того человеческого тандема, каким они стали поженившись. Их сотрудничество было поистине взаимодополняющим. Я всегда считал — хотя, наверное, это упрощение, да и звучит недостаточно уважительно, — что она придумывает, а он действует. По-моему, он был самым работоспособным человеком из всех, кого я знал. Когда они с Беатрис писали книгу о местном самоуправлении, они разослали циркулярные письма с вопросами к местным чиновникам по всей стране, указав, что данный конкретный чиновник сможет получить книгу, над которой они работают, на законном основании, вычтя ее стоимость из налоговых сборов. Когда я сдал им свой дом, почтальон ближайшего отделения, социалист по убеждениям, не знал, гордиться ли ему тем, что он их обслуживает, или горевать от того, что ему ежедневно приходится таскать по тысяче ответов на их циркуляры. Уэбб начинал как чиновник второго класса в министерстве по делам государственной службы, но благодаря огромному трудолюбию поднялся до первого класса. Ему была свойственна излишняя серьезность — он не терпел кошулственных шуток по поводу святынь вроде политической теории. Так, например, в ответ на мое замечание, что у демократии есть по крайней мере одно преимущество: член парламента не может быть глупее своих избирателей, ибо чем он глупее, тем стократ глупее должны быть избравшие его, — Уэбб страшно рассердился и осадил меня: "Я не одобряю такого рода аргументов".

Миссис Уэбб отличалась большей широтой, чем муж. Так, она способна была испытывать неподдельный интерес к конкретным человеческим особям, даже совершенно бесполезным. Будучи истово верующей, не принадлежала ни к одной конфессии, но как социалистка предпочитала англиканскую церковь — государственную. Она была одной из девяти дочерей человека по имени Поттер, выбившегося из низов и сколотившего почти все свое состояние на строительстве солдатских бараков в Крыму. Он стал последователем Герберта Спенсера, и миссис Уэбб являла собой блестящий продукт воспитательных теорий этого философа. Неприятно признаваться, но моя мать, которая жила неподалеку от миссис Уэбб в деревне, охарактеризовала ее в своем дневнике как "бабочку-однодневку" в сфере социальной работы, однако можно полагать, что, узнав ее получше, переменяла бы свое мнение к лучшему. Когда миссис Уэбб заинтересовалась социализмом, она решила подвергнуть фабианцев, и прежде всего знаменитую троицу: Уэбба, Шоу и Грэма Уоллеса* — испытанию. Состоялось нечто вроде суда Париса, где мужчины заняли место женщин и Сидни сыграл роль Афродиты.

(* Грэм Уоллес (1858—1932) — английский социолог и политолог, член Фабианского общества.)

Уэбб жил на свои заработки до тех пор, пока Беатрис не обрела скромный достаток в виде отцовского наследства. Беатрис сохранила привычку к сословным привилегиям, чего начисто лишен был Сидни. Поняв, что им хватает денег и без жалованья Сидни, они решили посвятить себя научным исследованиям и высшим формам пропаганды. Их книги делают честь их трудолюбию, а Школа экономики* — организаторским способностям Сидни. Но не думаю, что при тех же способностях он добился бы в жизни хоть половины такого успеха, если бы у него не было опоры в виде Беатрис с ее самоуверенностью. Я как-то спросил у нее, страдала ли она когда-нибудь в юности застенчивостью. "Ну нет, — ответила она, — если бы, входя в набитую людьми комнату, я ощутила хотя бы тень смущения, я бы сказала себе: "Ты самая умная из всех в самой умной семье самого умного класса самого умного народа в мире, чего тебе бояться?"

(* Лондонская школа экономики — колледж Лондонского университета; основан в 1895 г.)

Я любил миссис Уэбб и восхищался ею, хотя не разделял ее мнений по очень многим важным вопросам. Прежде всего и больше всего я восхищался ее способностями, поистине огромными. Кроме того, я восхищался ее цельностью: посветив себя общественным интересам, она никогда не позволяла себе отклониться, поддаться личным амбициям, которых не была лишена. Я любил ее как дорогого, преданного друга всех тех, кого она дарила личной привязанностью. Но я не принимал ее взглядов на религию, на империализм, я не был согласен с ее обожествлением государства, составлявшим самую суть фабианства. По-моему, это привело и обоих Уэббов, и Шоу к непоправимой терпимости по отношению к Муссолини и Гитлеру и в конце концов к глупейшему низкопоклонству перед советским правительством.

Но на свете не бывает абсолютно последовательных людей. Я как-то сказал Шоу, что Уэббу, по-моему, недостает отзывчивости. "Не скажите! — возразил Шоу. — Как-то в Голландии мы с Уэббом ехали в трамвае и подкреплялись печеньем. В этот же вагон полицейские ввели преступника в наручниках. Пассажиры в ужасе шарахнулись от него, а Уэбб подошел к заключенному и отдал пачку". Я всегда напоминаю себе об этом случае, когда чувствую, что слишком критически настроен по отношению к Уэббу или Шоу.

Некоторых людей Уэббы ненавидели. Ненавидели Уэллса — за то, что он оскорбил строгую викторианскую мораль миссис Уэбб, за то, что пытался свергнуть Уэбба с престола в Фабианском обществе. Ненавидели с самого начала Рамсея Макдональда*. Самый лестный отзыв о нем, какой мне довелось от них услышать, исходил от миссис Уэбб в пору, когда формировалось первое лейбористское правительство, она сказала тогда, что он отличный исполняющий обязанности партийного лидера.

(* Джеймс Рамсей Макдональд (1866—1937) — английский государственный деятель, основатель и лидер лейбористской партии, с 1920 по 1935 г. неоднократно занимал пост премьер-министра Англии.)

Как у политиков, у них была довольно любопытная история. Сначала они кооперировались с консерваторами, потому что миссис Уэбб понравилось, что Артур Бальфур* намеревался дать больше денег церковным школам. Когда в 1906 году консервативное правительство пало, Уэббы сделали несколько слабых и бесплодных попыток объединиться с либералами. Но потом догадались, что как социалисты больше придутся ко двору в лейбористской партии, верными членами которой и стали.

(* Артур Джеймс Бальфур (1848—1930) — премьер-министр Великобритании (1902—1905) от консервативной партии.)

В течение многих лет миссис Уэбб постоянно постилась, отчасти для оздоровления, отчасти из религиозных соображений. Она никогда не завтракала и ограничивалась очень скудным обедом. Плотно ела она лишь за ланчем, на который обычно приглашала немало важных шишек. Но к назначенному времени она уже испытывала такой голод, что, как только объявляли, что стол накрыт, стремительно неслась вперед, опередив гостей, и немедленно начинала есть. Тем не менее она верила, что голодание придает ей большую духовность, и призналась мне, что благодаря недоеданию у нее бывают чудесные видения. "Да, — отозвался я, — когда ешь слишком мало, чудится всякое-разное, а когда пьешь слишком много, чудится только зеленый змий". Боюсь, мое замечание показалось ей непозволительно дерзким. Уэбб не разделял ее религиозных убеждений, но относился к ним вполне терпимо, несмотря на неудобства, которые порою из-за этого испытывал. Когда мы вместе жили в гостинице в Нормандии, она никогда не спускалась к завтраку, так как не могла вынести вида наших жующих физиономий. Сидни, конечно, спускался выпить кофе с булочками. Но в первое утро она прислала вниз горничную с сообщением: "Нам не нужно масла на завтрак для Сидни", — это неизменное "нам" очень умиляло ее друзей.

Оба они были людьми глубоко недемократичными и считали, что втирать очки простому народу и окорачивать его — прямая обязанность государственного деятеля. Я понял, откуда идут представления миссис Уэбб о государственном управлении, когда она рассказала, как проходили акционерные собрания в компании ее отца. Она усвоила его идеи, а он полагал, что дело директоров — указывать пайщикам их место, и точно так же, по ее мнению, должно было вести себя правительство по отношению к избирателям.

Отцовские рассказы о перипетиях его карьеры вовсе не вызвали у нее неподобающей непочтительности к великим мира сего. После того как он построил зимние бараки для французских солдат в Крыму, он отправился в Париж за деньгами. На строительство он потратил почти все, что имел, и ему жизненно важно было, чтобы с ним расплатились. Но хотя все в Париже признавали задолженность, чека ему все никак не выдавали. Наконец как-то раз он встретил лорда Брасси, который приехал в Париж с похожим поручением. Когда мистер Поттер рассказал о своих передрыгах, лорд Брасси ответил ему со смехом: "Милейший, вы просто не знаете входов и выходов. Нужно дать пятьдесят фунтов министру и по пять каждому из его подчиненных". Сказано — сделано, и на следующий день появился чек.

Сидни без колебаний прибегал к уловкам, которые многим показались бы неблагоприятными. Например, он рассказывал мне, что, когда хочет провести через комитет какое-то решение, которое не поддерживается большинством, он выносит резолюцию, где спорный пункт упоминается дважды. При первом обсуждении он ведет долгие дебаты и в конце концов деликатно отступает. Можно ставить девять против десяти, заверял меня он, никто не заметит, что этот же самый пункт упоминается в резолюции второй раз.

Уэббы сделали очень много для английского социализма, который благодаря им обрел стержень. Они сделали примерно то же самое, что последователи Бентама раньше сделали для радикалов. У бентамистов и Уэббов была известная жесткость, известная сухость — уверенность, что эмоциям место в мусорной корзине. Но при этом и бентамисты, и Уэббы втолковывали свои доктрины энтузиастам. Бентам и Роберт Оуэн сумели оставить после себя интеллектуально устойчивое "потомство", и это же удалось Уэббам и Кейру Харди. Никто не может даровать людям все блага, придающие смысл человеческой жизни, и если удастся внести в эту жизнь хоть толику желаемого — это уже предел разумных ожиданий. Уэббы выдержали это испытание — если бы не они, Британская лейбористская партия, несомненно, была бы куда более аморфной и нецивилизованной. Их мантия досталась их племяннику сэру Стаффорду Криппсу; не будь их, британская демократия не прошла бы так же спокойно через бурные годы, выпавшие нам всем на долю.

Часть вторая 1914—1944

Первая война

Период с 1910 по 1914 год был временем перемен. Моя жизнь до 1910-го и моя жизнь после 1914-го разнились между собой так же сильно, как жизнь Фауста до и после встречи с Мефистофелем. Я пережил процесс омоложения, начатый Оттолайн Моррелл и продолженный войной. Наверное, странно, что война вообще способна кого-нибудь омолодить, но она в самом деле вытряхнула из меня старые предрассудки и заставила думать по-новому о многих важных вещах. Кроме того, она подарила мне новый вид деятельности, которая не вызывала у меня той скуки, что овладевала мной всегда, когда я пытался вернуться к математической логике. Таким образом я приучился представлять себя чем-то вроде обыкновенного Фауста, которому Мефистофель явился в виде великой войны.

В жаркие июльские дни я обсуждал в Кембридже сложившуюся ситуацию во всех деталях. Мне не верилось, что Европа обезумела

столько, чтобы ввязаться в войну, но я был убежден: если война начнется, Англия будет в ней участвовать. Я твердо стоял на том, что Англии следует сохранять нейтралитет, и собрал подписи большого числа профессоров и преподавателей под декларацией, которая была опубликована в "Манчестер гардиан". Ко дню объявления войны почти все они изменили свое мнение. Оглядываясь назад, удивляешься, как люди могли не понимать, что грядет. В воскресенье 2 августа я, как уже упоминал в этой автобиографии, встретил во дворе Тринити-колледжа Кейнса, который спешил одолжить у шурина мотоцикл, чтобы ехать в Лондон. Я сразу догадался, что его пригласили в правительство для консультации по финансовым вопросам. Это указывало на наше скорое вступление в войну. В понедельник утром я решил поехать в Лондон. Мы завтракали с Морреллами на Бедфорд-сквер, где выяснилось, что Оттолайн всецело разделяет мой образ мыслей. Она одобрила решение Филиппа выступить в палате общин с пацифистской речью. Я пошел в палату в надежде услышать знаменитое заявление сэра Эдварда Грея, но желающих собралось столько, что пройти мне не удалось. Я, однако, узнал, что Филипп свою речь произнес. Вечером я бродил по улицам, большей частью в районе Трафальгарской площади, видя вокруг толпы возбужденных людей. В тот и последующие дни я, к своему изумлению, обнаружил, что перспектива войны вызывает восторг у обыкновенных людей. Я, как и многие пацифисты, наивно полагал, что войны навязываются равнодушному населению деспотичным и двуличным правительством. Я успел заметить, как накануне этих событий сэр Эдвард Грей изощренно лгал, скрывая от народа, что именно имеется в виду под нашей помощью Франции в случае войны. Я наивно полагал: когда народ поймет, что ему лгали, он возмутится; вместо этого он выражал благодарность за предоставленную ему возможность выполнить свой моральный долг. Утром 4 августа я прогуливался с Оттолайн по пустым улицам за Британским музеем, где теперь располагаются здания университета. Будущее рисовалось нам в мрачных тонах. Когда мы делились своими страхами с другими, нас считали сумасшедшими. По сравнению с тем, что произошло потом, наши опасения были детским лепетом. Вечером 4-го, после ссоры с Джорджем Тревелияном, которая длилась на протяжении всего нашего пути по Стрэнду, я посетил последнее заседание комитета по нейтралитету, на котором председательствовал Грэм Уоллес. Во время заседания раздался удар грома, который старшее поколение членов комитета приняло за взрыв немецкой бомбы. Это рассеяло их последние сомнения по поводу нейтралитета. Первые дни войны повергли меня в состояние глубочайшего изумления. Лучшие мои друзья, такие как Уайтхед, были настроены крайне воинственно. Люди вроде Дж. Л. Хэммонда*, годами строчившие статьи против участия в европейской войне, заняли совершенно иную позицию — пример Бельгии вышиб у них почву из-под ног. Поскольку я давно знал от своего приятеля, военного из Стафф-колледжа, что Бельгия неминуемо будет втянута в войну, то не предполагал, что серьезные публицисты могут быть столь легкомысленны и невежественны. Газета "Нейшн" устраивала по вторникам завтрак для сотрудников, и 4 августа я туда пошел. Редактор газеты Мэссингем выступал горячо против нашего участия в войне. Он с энтузиазмом принял мое предложение написать в его газету. На следующий день я получил от него письмо, начинающееся словами: "Сегодня — это не вчера", и далее о том, что его мнение полностью изменилось. Тем не менее в следующем номере он опубликовал мое длинное письмо против войны. Не знаю, что именно повлияло на него, знаю лишь, что одна из дочерей Асквита видела, как 4 августа он спускался по лестнице немецкого посольства, и подозреваю, что ему указали, сколь недальновидно отсутствие патриотизма в такой критический момент. В течение примерно всего первого года войны он оставался патриотом и со временем стал забывать о своем пацифизме. Несколько пацифистов из числа членов палаты общин в компании двух-трех сочувствующих начали собираться в доме Морреллов на Бедфорд-сквер. Я посещал эти собрания, из которых впоследствии возник Союз демократического контроля. Любопытно было обнаружить, что многих пацифистов-политиков больше интересовало, кто из них возглавит антивоенное движение, чем реальная антивоенная деятельность. Тем не менее они заявляли о своем пацифизме, и я изо всех сил старался думать о них хорошо.

(* Джон Лоуренс Хэммонд (1872-1949) — английский историк, писатель, государственный деятель.)

Я жил в невероятнейшем эмоциональном напряжении. Хотя я и не предугадал истинный масштаб военной катастрофы, я все же сумел предвидеть гораздо больше, чем многие другие. Будущее вселяло в меня ужас, но еще больший ужас я испытывал от того, что девяносто процентов населения радостно предвкушает кровавую бойню. Мне пришлось пересмотреть свои взгляды на природу человека. В ту пору я был полным невеждой в психоанализе, но своим путем пришел к психоаналитическим воззрениям на человеческие страсти. Я сделал эти выводы, пытаясь осмыслить общее отношение к войне. Раньше я полагал, что родителям свойственно любить своих чад, но война убедила меня в том, что это скорее исключение. Я также полагал, что люди больше всего на свете любят деньги, но обнаружил, что еще больше они любят разрушение. Я полагал, что интеллектуалы, как правило, любят истину, но опять-таки выяснил, что не более десяти процентов из них предпочтут истину популярности. Гилберт Марри, мой близкий друг с 1902 года, занимал в отличие от меня пробурскую позицию. Естественно было ожидать от него, что он и теперь станет на миролюбивые рельсы, а он принялся писать о вероломстве немцев и сверхъестественных добродетелях сэра Эдварда Грея. Я преисполнился отчаянного сочувствия к молодым людям, которым грозила отправка на бойню, и ненавистью ко всем европейским государственным деятелям. В течение нескольких недель мне казалось, что, встретиться мне на пути Асквит или Грей, я не удержусь от смертоубийства. Однако постепенно эти личные чувства исчезли. Их поглотила огромная трагедия и понимание того, что государственные деятели всего-навсего дали волю стремлениям самих народов.

Кроме всего прочего, меня терзали "муки патриотизма". Успехи немцев до битвы на Марне вызывали у меня ненависть. Я желал поражения Германии так же страстно, как какой-нибудь отставной полковник. Любовь к Англии — чуть ли не самое сильное чувство, на какое я способен, и отрешиться от него в тот момент было мне очень трудно. Тем не менее у меня никогда не возникало даже мимолетного сомнения относительно того, что я должен делать. Порой я ощущал себя скептиком, порой бывал циничен, а то и равнодушен, но когда пришла война, до меня словно донесся глас Божий. Я знал, что мой долг — протестовать, пусть даже этот протест не даст плодов. Все мое существо восстало против войны. Как ревнителю истины мне была отвратительна националистическая пропаганда, которая велась во всех воюющих странах. Как стороннику цивилизации мне претило возвращение варварства. Как человека с нормальными родительскими чувствами меня глубоко ранила массовая бойня молодежи. Я не надеялся на то, что из противостояния войне выйдет толк, но чувствовал, что для спасения человеческой чести те, кого еще не сшибло с ног, должны доказать, что они твердо стоят на земле. После того как я увидел эшелоны с новобранцами, отправлявшиеся с вокзала Ватерлоо, меня стали посещать странные видения. Я почти воочию видел, как рушатся и падают в воду лондонские мосты, как город исчезает, словно утренний туман. Его жители казались мне призраками, и я всерьез задумался о том, не есть ли мир, где я вроде бы жил, всего лишь плод моих болезненных кошмаров. Однако эти настроения были мимолетны, а необходимость работать положила им конец.

Первое время Оттолайн была моей надежной опорой. Не будь ее, я бы чувствовал себя совершенно одиноким, но она никогда явно не выражала ни своей ненависти к войне, ни отказа принимать мифы и ту ложь, которыми был затуманен мир.

Некоторое утешение я нашел в беседах с Сантаной, который находился тогда в Кембридже. Он был нейтралом, а кроме того, питал слишком мало уважения к человеческой породе, чтобы беспокоиться, уничтожит она себя или нет. Его спокойная философская отчужденность, хоть я и не имел желания ей подражать, действовала на меня благотворно. Накануне битвы на Марне, когда казалось, что немцы вот-вот возьмут Париж, он сонно заметил: "Думаю, мне надо поехать в Париж. У меня там зимние кальсоны, не хочется,

чтобы они достались немцам. Есть и другая, менее важная причина, она заключается в том, что там у меня осталась рукопись книги, над которой я работал последние десять лет, но она мне не так нужна, как кальсоны". Он, однако, не поехал в Париж, потому что исход битвы на Марне снял с него эту заботу. Зато в другой раз он мне сказал: "Завтра еду в Севилью, хочу оказаться там, где люди не скрывают страстей".

С началом октябрьского семестра мне надо было опять читать лекции по математической логике, но это казалось бессмысленным. Поэтому я взялся за организацию отделения Союза демократического контроля среди преподавателей, и многие мои коллеги по Тринити-колледжу на первый взгляд сочувствовали этой идее. Я также выступал на собраниях старшекурсников, которые выразили готовность меня слушать. Помнится, в одной из речей я сказал: "Глупо считать немцев злодеями", и, к моему удивлению, аудитория дружно зааплодировала. Но после того, как затонула "Лузитания", возобладал воинственный дух. Распространилось мнение, будто я каким-то образом несу ответственность за эту катастрофу. Из тех преподавателей, что входили в Союз демократического контроля, многие к тому времени получили мобилизационные повестки. Барнс (впоследствии епископ Бирмингемский) ушел из университета, чтобы стать настоятелем храма. Те, что постарше, начали впадать в истерическое состояние, и я заметил, что за трапезой меня стараются избегать.

Пока шла война, каждое Рождество на меня накатывало такое глубокое, всепоглощающее отчаяние, что я ничем не мог заниматься, только сидел в кресле и думал о бессмысленности человеческого существования. На Рождество 1914 года благодаря Оттолайн я нашел способ отчасти рассеять уныние. Я стал посещать от имени благотворительного комитета нищих немцев, чтобы выяснить, в каких условиях они живут, и, если понадобится, помочь им. Эта работа помогла разглядеть в яростном котле всеобщей ненависти примеры замечательной доброты. Нередко хозяйки жилищ в бедных кварталах, и сами-то бедные, позволяли немцам оставаться у них бесплатно, потому что знали, что работы им не найти. Вскоре это решилось само собой, поскольку всех немцев интернировали, но в первые месяцы войны они страшно бедствовали.

Как-то в октябре 1914 года на Нью-Оксфорд-стрит я встретил Т. С. Элиота. Я не знал, что он в Европе. Выяснилось, что он приехал в Англию из Берлина. Естественно, я спросил, что он думает о войне. "Не знаю, — ответил он, — одно могу сказать: я не пацифист". Иными словами, он готов был воспользоваться любым оправданием геноцида. Я близко сдружился с ним, а впоследствии и с его женой, на которой он женился в начале 1915 года. Поскольку они были отчаянно бедны, я предоставил им одну из двух спален в моей квартире, в результате чего часто мог их видеть. Я любил их обоих и старался всячески им помогать, пока не обнаружил, что невзгоды доставляли им удовольствие. У меня были облигации одной инженерной компании, которая теперь перешла на военные рельсы, номинальной стоимостью три тысячи фунтов. Я никак не мог решить, что мне с ними делать, и наконец отдал Элиоту. Годы спустя, когда война кончилась и сам он позабыл о бедности, Элиот вернул их мне.

Летом 1915 года я написал "Принципы социальной реконструкции", или, как без моего на то согласия называли эту книжку в Америке, "Почему люди воюют". У меня не было намерения писать что-либо подобное, и книжка была совершенно не похожа на предыдущие мои писания, но все получилось как-то само собой. Я, в сущности, сам не понимал, что пишу, пока не закончил. У нее есть структура и концепция, но и то и другое выявилось, лишь когда было заполнено пространство между первым и последним словом. Там я выдвинул философию политики, основанную на убеждении, что человеческая жизнь строится скорее под влиянием импульсов, чем разумно обусловленной цели. Импульсы я разделил на две группы — импульсы обладания и импульсы творчества, считая лучшей жизнью ту, которая по большей части строится на творческих импульсах. В качестве примеров, демонстрирующих импульсы обладания, я привел государство, войну и бедность, а примерами творческих импульсов мне послужили образование, брак и религия. По моему убеждению, преобразующим принципом должна стать свобода творчества. Книга создавалась как цикл лекций, которые я потом опубликовал. К моему удивлению, ее ждал быстрый успех. Я писал, никак не рассчитывая на то, что ее будут читать, для меня это было просто как исповедание веры, а она принесла мне кучу денег и заложила основу будущих прибылей.

(...)

С наступлением 1916 года война приняла еще более ожесточенный характер, и оставаться пацифистом становилось все труднее. Наши отношения с Асквитом были по-прежнему дружескими. До того как Оттолайн вышла замуж, он был ее обожателем, и я часто встречал его у нее в Гарсингтоне. Однажды, искупавшись в пруду нагишом, я вышел на берег и наткнулся прямо на него. Этой встрече премьер-министра с пацифистом явно не доставало приличествующей случаю величественности. Как бы то ни было, я надеялся, что он не упечет меня за решетку. Во время Пасхального восстания* в Дублине тридцать семь узников совести были приговорены к смертной казни, и мы, депутация пацифистов, обратились к Асквиту с прошением о смягчении приговора. Он в ту пору как раз торопился в Дублин, но вежливо выслушал нас и принял необходимые меры. Даже в правительстве многие считали, что узники совести были незаконно осуждены на смерть, и если бы не Асквит, свершилась бы ужасная ошибка и многих из них отправили бы на расстрел.

(* Ирландское национальное восстание 20—24 апреля 1916 г. (на Пасхальной неделе) против господства англичан.)

Однако Ллойд Джордж оказался более крепким орешком. Однажды я с Клиффордом Алленом (Председателем Антимобилизационного комитета) и мисс Кэтрин Маршалл отправился к нему на беседу по поводу узников совести, томившихся в тюрьме. Он назначил нам встречу во время ланча в Уолтон-Хит. Мне не хотелось пользоваться его гостеприимством, но делать было нечего. Он вел себя очень дружелюбно, однако понимания мы не встретили. В конце беседы я разразился речью чуть ли не в библейском духе, сказав, что его имя войдет в историю бесславия. Более я не имел удовольствия с ним встречаться.

С началом мобилизации почти все время я тратил на процессы узников совести. Антимобилизационный комитет полностью состоял из мужчин призывного возраста, но в качестве ассоциированных членов они принимали женщин и мужчин постарше. После того как весь первоначальный состав комитета попал за решетку, был сформирован новый комитет, председателем которого стал я. Работы было по горло, требовалось следить за соблюдением прав личности и за тем, чтобы военные власти не посылали отказников во Францию, ибо после отправки к ним могли применить даже такие меры наказания, как смертная казнь. Я очень много ездил по всей стране. Три недели провел в шахтерских районах Уэльса, выступая и в помещениях, и прямо на улицах. Мне никто не мешал, и везде в промышленных районах я находил понимание аудитории. Однако в Лондоне все было иначе.

Клиффорд Аллен, председатель Антимобилизационного комитета, был очень способным и очень гибким молодым человеком. Он принадлежал не к христианскому, а к социалистическому крылу пацифистского движения. Налаживание гармоничных отношений между

социалистами и христианами шло туго, и он продемонстрировал беспристрастность, достойную восхищения. Летом 1916 года он попал под военный трибунал и был осужден на тюремное заключение. Всю войну я встречался с ним только в те редкие дни, когда его выпускали на волю. Его освободили по состоянию здоровья (он находился на грани смерти) в начале 1918 года, но вскоре я и сам угодил в тюрьму.

Во время рассмотрения дела Клиффорда Аллена — его тогда впервые привлекли к судебной ответственности — я познакомился с леди Констанс Моллесон, известной под своим сценическим именем Колетт О'Нил. Ее мать, леди Эннсли, дружила с принцем Генрихом Прусским. Их дружба началась до войны и возобновилась после ее окончания. Это, конечно, плохо сочеталось с ее принадлежностью к стану пацифистов, но Колетт и ее сестра, леди Клер Эннсли, были настоящими пацифистками и сотрудничали с Антимобилизационным комитетом. Колетт была замужем за актером и драматургом Майлсом Моллесоном. В 1914 году он записался в армию, но, к счастью, его не взяли из-за больной ноги. Таким образом, он находился в очень выгодном положении, которое использовал на благо отказников, ибо убедился в справедливости пацифистского движения. Я обратил внимание на Колетт в суде и там же был ей представлен. Выяснилось, что она дружила с Алленом, и он мне потом рассказывал, как щедро она отдавала этой работе свое время, как свободна в своих суждениях и предана делу пацифизма.

(...)

Встреча с Кэтрин произошла в опасную минуту, когда моя личность подвергалась трансформации. Из-за войны я чуть было не стал законченным циником, и мне стоило большого труда убедить самого себя в том, что какая бы то ни было деятельность имеет смысл. Временами на меня находили припадки такого отчаяния, что я целыми днями неподвижно сидел в кресле, изредка почитывая Экклезиаста. А потом пришла весна, и я вдруг обнаружил, что избавился от всех сомнений по поводу Колетт. На самом пике моего зимнего отчаяния я нашел себе занятие, хотя и столь же бесполезное, как все прочие, но в ту пору не лишенное смысла. Поскольку Америка продолжала сохранять нейтралитет, я написал открытое письмо президенту Вильсону, призывая его спасти мир. Вот начало этого письма.

Сэр,

у Вас есть возможность оказать огромную услугу человечеству, превзойдя в служении ему даже Авраама Линкольна, сколь бы велик он ни был. В Вашей власти закончить войну справедливым миром, что в свою очередь рассеяло бы угрозу новой войны в ближайшем будущем. Еще не поздно избавить европейскую цивилизацию от уничтожения; но может оказаться слишком поздно, если позволить войне продлиться еще два или три года, как предсказывают военные.

Желание воевать сейчас достигло той точки, откуда всем, кто не потерял способность думать, ясно видны дальнейшие перспективы. Главам всех воюющих стран должно быть понятно, что победа в этой войне невозможна ни для одной из сторон. В Европе преимущество за Германией; за пределами Европы и на морях преимущество у союзных войск. Ни та, ни другая сторона не способны одержать столь полную победу, чтобы заставить противника искать мира. Война наносит тяжкие удары, но не такие тяжкие, чтобы положить конец военным действиям. Очевидно, что рано или поздно придет время переговоров, которые будут вестись исходя из наличествующего на тот момент баланса побед и потерь, а результат их будет почти таким же, какого можно достигнуть и сейчас. Германское правительство признало этот факт и выразило свою готовность заключить мир на условиях, которые по меньшей мере можно считать платформой для переговоров. У правительств союзников не хватило мужества публично признать то, что они не могут отрицать неофициально, однако надежда на решительную победу вряд ли имеет право на поощрение. Из-за недостатка мужества они готовы вовлечь Европу в ужасы непрерывной войны еще на два или три года. Это несовместимо с понятием гуманизма. Вы, сэр, можете положить этому конец. Ваша власть дает такую возможность и возлагает на Вас ответственность; Ваши предшествующие действия вселяют уверенность в том, что Вы воспользуетесь Вашей властью с беспрецедентной для государственных деятелей мерой мудрости и гуманности...

Военная цензура осложняла отправку документа такого рода, но Кэтрин, сестра Хелен Дадли, которая как раз у нее гостила, взялась отвезти письмо в Америку. Она нашла вполне невинный способ его спрятать и доставила прямоком в Комитет американских пацифистов, благодаря которым письмо было напечатано чуть ли не во всех американских газетах. Мне важно было донести до американцев мысль, которую разделяли многие, что эта война не может кончиться ничьей победой. И таков будет ее исход, ежели Америка по-прежнему будет держать нейтралитет.

С середины 1916 года и до того, как в мае 1918-го я попал в тюрьму, я очень много работал с Антимобилизационным комитетом. С Колетт мы встречались только урывками, и сами встречи чаще всего были связаны с этой работой. Клиффорда Аллена периодически сажали на несколько дней в тюрьму и, когда он категорически отказался подчиняться приказам военных, отдали под трибунал, и мы с Колетт вдвоем ходили на судебные заседания.

Когда произошла революция Керенского, в Лидсе состоялся большой митинг тех, кто ей сочувствовал. Я там выступал, а Колетт присутствовала вместе с мужем. Мы поехали поездом с Рамсеем Макдональдом, который со специфически шотландским юмором рассказывал в пути длинные истории, столь занудные, что их просто невозможно было дослушать до конца и узнать, в чем же соль. В Лидсе было решено попытаться сформировать в различных районах Англии и Шотландии организации, которые в перспективе могли бы стать рабочими и солдатскими советами по русскому образцу. В этих целях в лондонской церкви Братства на Саутгейт-роуд мы провели митинг. Патриотические газеты разослали листовки по всей округе (очень бедному району), в которых говорилось, что мы связаны с немцами и подаем сигналы их аэропланам, чтобы они знали, куда бросать бомбы. Наш митинг не мел успеха, и церковь осадила целая толпа. Большинство из наших решили, что сопротивляться бесполезно и даже вредно — ведь мы были непротивленцами, остальные побоялись, что нас слишком мало, чтобы противостоять всему населению района. Но несколько человек, в том числе Фрэнсис Мейнелл, все же попытались сопротивляться, и я помню, как он вошел с улицы с лицом, залитым кровью. Во главе толпы стояли офицеры, все, кроме них, были пьяны. Самые отчаянные вооружились досками, утыканными ржавыми гвоздями. Офицеры попытались заставить присутствовавших среди нас женщин покинуть церковь, чтобы потом разделаться с мужчинами, которых они, как и всех пацифистов, считали трусами. В этой ситуации отличилась миссис Сноуден. Она хладнокровно отказалась уйти, если вместе с женщинами не позволят выйти и мужчинам. Ее поддержали и другие женщины. Это озадачило офицеров, которые не желали нападать на женщин. Но толпа, почуяв запах крови, пришла в неистовство. Полиция взидала на все это спокойно. Двое пьяных хулиганов бросились на меня с досками. Пока я раздумывал, как отразить атаку, одна из женщин подошла к полицейским и попросила

защитить меня. Те в ответ просто пожали плечами. "Но это известный философ". — сказала она. На что полицейские опять пожали плечами. "Весь мир знает его как выдающегося ученого", — продолжала она. Полицейские не двинулись с места. "Его брат — граф", — в отчаянии выкрикнула она. В ответ на последний аргумент они поспешили мне на помощь. Мне, однако, она уже была не нужна. Я обязан жизнью молодой женщине, которую даже не знал. Она встала между мной и этими негодяями, и я успел ускользнуть. К счастью, сама она не пострадала. Но многие, в том числе и женщины, выбрались из церкви в разорванной одежде. Колетт тоже была там, но нас разделила толпа, и я не мог найти ее, пока мы оба не оказались на улице. Домой мы возвращались вместе, настроение у нас было подавленное.

Проповедник церкви Братства, пацифист, был человеком необычайного мужества. Несмотря на печальный опыт, он попросил меня вновь обратиться к прихожанам его церкви. На этот раз толпа устроила поджог прямо под кафедрой, и мое выступление было сорвано. Два раза встречался я со столь явными проявлениями агрессивности, все прочие собрания проходили довольно мирно. Тем не менее газеты представили их в совершенно ином свете, и мои друзья, не исповедовавшие пацифизм, пытались меня урезонить: "Зачем тебе ходить на собрания, если толпа их всегда срывает?"

К тому времени обострились мои отношения с правительством. В 1916 году я написал листовку, которую распространил Антимобилизационный комитет, об одном узнике совести, приговоренном к тюремному заключению. Листовка была напечатана без подписи, и я с удивлением узнал, что ее распространители попали за решетку. Тогда я написал в "Таймс", что автором являюсь я. Против меня было выдвинуто обвинение, и в присутствии лорд-мэра я выступил с пространной речью в свою защиту. Меня приговорили к штрафу в 100 фунтов. Я не стал платить, тогда в погашение штрафа на эту сумму было продано мое имущество и Кембридж. Мои добрые друзья выкупили эти вещи и вернули мне, так что мой протест остался безнаказанным. Тем временем все мои молодые коллеги в Тринити-колледже получили мобилизационные повестки. Старшее поколение колледжа также сочло необходимым внести свой вклад в победу: меня лишили права читать лекции. Когда в конце войны молодежь вернулась в университет, мне предложили возобновить лекции, но у меня уже не было на то желания.

Как ни странно, рабочие военных заводов склонялись к пацифизму. Мои выступления в Южном Уэльсе, каждое из которых весьма неточно освещалось соответствующими наблюдателями, привели к тому, что министерство обороны издало приказ, запрещающий мне выезд в закрытые районы. Под закрытыми районами подразумевались зоны, особо охранявшиеся от шпионов. Сюда входило все побережье. Вследствие заявленных протестов министерство вынуждено было отметить, что не подозревает меня в шпионаже в пользу Германии, тем не менее меня не подпускали к побережью, чтобы я не мог подавать сигналы немецким подводным лодкам. Приказ вышел как раз когда я вернулся в Лондон из Суссекса, где останавливался у Элиотов. Мне пришлось попросить их привезти мне расческу и зубную щетку, потому что правительство запретило мне сделать это самому. Если бы ни эти знаки внимания со стороны властей предержащих, я бросил бы пацифистскую работу, поскольку убедился в ее полной бесполезности. Однако, обнаружив, что правительство думает иначе, я решил, что, должно быть, заблуждаюсь, и продолжал в том же духе. Независимо от того, видел я в этой работе какой-то толк или нет, я уже не мог оставить ее, иначе могло бы показаться, что я испугался.

Антимобилизационный комитет издавал еженедельную газетку под названием "Трибунал", и я писал статьи в каждый номер. После того как я перестал с ней сотрудничать, мой преемник, заболев, попросил писать статью вместо него. Я выполнил его просьбу и написал, что американских солдат собираются использовать в Англии как штрейк-брейхеров, к чему они вполне привыкли у себя на родине. Это утверждение я подкрепил цитатой из доклада сената. За эту публикацию меня приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев. Арест не вызвал у меня неудовольствия, напротив, помог сохранить самоуважение и дал возможность поразмышлять над чем-то более светлым, чем разгул разрушительных сил. Благодаря вмешательству Артура Бальфура меня разместили в отделении первой категории, так что, находясь в тюрьме, я мог читать и писать сколько хочу, при условии, что не буду заниматься пропагандой пацифизма. Тюрьма во многих отношениях показалась мне вполне приятным заведением. У меня не было никаких обязательных занятий, мне не надо было принимать трудных решений, бояться непрошенных визитеров, ничто не отвлекало меня от работы. Я очень много читал. Написал книгу "Введение в философию математики", что-то вроде популярной версии "Оснований математики", и приступил к работе над "Анализом сознания". Мне было интересно общаться с заключенными, которые нравственно ничем не уступали тем, кто жил на воле, разве что были чуточку поглупее, коль скоро позволили себя арестовать. Для тех, кто привык читать и писать, но не имел преимуществ привилегированного положения, как я, тюрьма — жестокое и ужасное наказание. Спасибо Артуру Бальфуру — я не испытал таких лишений. Я благодарен ему за помощь, хотя в корне не согласен с проводимой им политикой. Меня очень развеселил тюремный охранник, который пожелал записать сведения обо мне. На вопрос о вероисповедании я ответил "агностик". Он спросил, как это пишется, и со вздохом заметил: "Что ж, религий много, но я думаю, все верят в единого Бога". Это замечание смешило меня целую неделю. Как-то раз, читая "Знаменитых викторианцев" Стрейчи, я так громко расхохотался, что вошел охранник и сказал, чтобы я не забывался, тюрьма — место, где отбывают наказание. В другой раз Артур Уэйли, переводчик китайской поэзии, прислал мне только что переведенное и еще не опубликованное стихотворение:

Мне прислали в подарок из Аннама

Красного какаду.

Нежного, как цветы персика,

Говорящего на человеческом языке.

И с ним сделали то, что всегда делают

С учеными и речистыми.

Взяли клетку с крепкими прутьями

И заперли в ней.

Дважды в неделю мне разрешали свидания, конечно всегда в присутствии тюремщика, но от того не менее радостные. Оттолайн и Колетт приходили по очереди и приводили с собой еще одного-двух человек. Я изобрел способ нелегальной отправки писем: вкладывал листки в неразрезанные страницы книг. Разумеется, я ничего не объяснял в присутствии охранника. В первый раз, вручая Оттолайн "Труды Лондонского математического общества", сказал, что эта книга гораздо интереснее, чем кажется. Еще раньше я нашел способ переправлять свои любовные послания к Колетт через начальника тюрьмы: читая мемуары о Великой французской революции, я

обнаружил там письма Жирондена Бюзо к мадам Ролан, а так как я писал свои письма по-французски, я говорил, что переписал их из книги, — надо сказать, по смыслу они не так уж разнились. А вообще-то я подозреваю, что начальник тюрьмы просто не понимал по-французски, но не хотел признаваться в своем невежестве.

В тюрьме было полно немцев, в том числе очень образованных. Когда я однажды опубликовал рецензию на книгу о Канте, ко мне подошли собраты-заключенные и деликатно указали на не вполне адекватную интерпретацию его философии. Некоторое время в той же тюрьме содержался Литвинов*, но мне не дали возможности поговорить с ним, хотя издалека я его видел.

(*Максим Литвинов (1867-1951) — советский государственный и партийный деятель, занимавший в Наркоминделе посты члена коллегии, зам. наркома, наркома.)

Настроения, которые владели мною в заключении, нашли отражение в моих письмах к брату, как и все прочие, перлюстрированных начальником тюрьмы.

6 мая 1918 г.

...Жизнь здесь напоминает плавание на океанском лайнере: тебя втиснули в толпу заунывных человеческих особей, и единственная возможность скрыться — уединиться в своей каюте. Я не нахожу, что эти люди хуже обыкновенной толпы, за исключением, пожалуй, того, что они слабее духом, если судить по лицам. Но это меня мало беспокоит. Единственное большое испытание для меня — невозможность видеться с друзьями. Какую радость доставила мне наша вчерашняя встреча! Надеюсь, когда ты придешь в следующий раз, захватишь с собой еще двоих — вероятно, у вас с Элизабет есть список. Ужасно хочется повидать как можно больше друзей. Кажется, ты решил, что я сделался равнодушен к подобным вещам, но ты ошибаешься. Встречи с людьми, которых я люблю, не могут стать безразличны. Мне нравится перебирать в уме все, что навеивает воспоминания о приятных происшествиях.

Раздражительность и недостаток табака беспокоят меня не так сильно, как я опасался, но со временем, наверное, дадут о себе знать. Отдых от ответственности столь сладостен, что перевешивает почти все неудобства. Тут я ни о чем не забочусь; нервы отдыхают — ощущение божественное. Я свободен от мучительных вопросов: что еще мог бы я сделать? Какие еще меры можно предпринять, до которых я не додумался? Есть ли у меня право бросить все и вернуться к философии? Здесь я невольно должен от всего отрешиться, и это гораздо покойнее, нежели сделать то же по доброй воле и терзаться сомнениями насчет своей правоты. Тюрьма обладает некоторыми прерогативами католической церкви...

27 мая 1918 г.

...Передай леди Оттолайн, что я прочитал обе книги об Амазонке. Томлинсона я полюбил, Бейтс навеивает на меня скуку, пока я его читаю, но оставляет в памяти яркие образы, которые потом приятно вспоминать. Томлинсон многим обязан "Сердцу тьмы". Он составляет разительный контраст Бейтсу. Видно, наше поколение в сравнении с другими слегка повредилось в уме, потому что позволило себе узреть немного истины, а истина призрачна, безумна, неприглядна; чем больше на нее взираешь, тем меньше в тебе остается душевного здоровья. Викторянцы (бедняжки) были здоровы и удачливы, потому что никогда не приближались к истине. Но что касается меня, то уж лучше я сойду с ума от истины, чем останусь в здравом уме, но во лжи...

10 июня 1918 г.

...Пребывать здесь, в этих условиях, не более неприятно, чем служить атташе в парижском посольстве, и не так мерзко, как в том мире ужаса, в котором я провел полтора года, занимаясь у репетитора. Молодые люди, с которыми я имел тогда дело, почти все пошли в армию или в церковники, так что по части нравственности стояли ниже среднего уровня...

8 июля 1918 г.

...Я не ропщу, напротив. Поначалу я был слишком озабочен собственными проблемами, хотя и в пределах разумного, надеюсь. Теперь я почти не думаю о них, ибо сделал все, что мог. Я много прочитал и весьма плодотворно занимался философией. Может показаться странным и невероятным, но мое настроение зависит от войны не больше, чем от чего-либо иного: когда дела у союзников идут хорошо, я радуюсь, когда плохо — волнуясь о всяких очень далеких от войны вещах...

22 июля 1918 г.

...Я читал о Мирабо. Его смерть удивительна. Умирая, он сказал: "Ah, si j'eusse vecu, j'eusse donne de chagrine a ce Pitt!"* — и это нравится мне больше, чем слова Питта. Но это не самые последние его слова. Он продолжил: "Il ne reste plus qu'une chose a faire: c'est de se separer, de se couronner de fleurs et de s'environner de musique, afin d'entrer agreablement dans le sommeil dont on ne se reveille plus, L'egrain, qu'on se prepare a se raser, a faire sa toilette toute entiere"**. Потом, повернувшись к рыдающему другу: "Eh bien! Etes-vous content, mon cher connoisseur en belles marts? — Наконец, услышав ружейные выстрелы: — Sont-ce deja les funeraillks d'Achille?"*** И затем, очевидно, умолк, решив, как я думаю, что все сказанное дальше портит впечатление. Это иллюстрация к тезису, который я защищал в нашем разговоре в среду, о том, что необыкновенный взрыв энергии порождается необыкновенной мерой тщеславия. Есть и другой движущий мотив: любовь к власти. Филипп II Испанский и Сидни Уэбб с Гроувнор-роуд тщеславием не отличаются.

(* Случись мне выжить, я пожалел бы Питта (франц.).)

(*) Мне осталось только одно: надуться, украсить себя цветами, позвать музыкантов и погрузиться в приятный сон, от которого нет пробуждения; Легран, который приготовил мне бритье, завершит мой туалет (франц.).)

(*** Вы довольны, мой дорогой знаток прекрасной смерти? Разве это не похороны, достойные Ахилла? (франц.))

(...)

Я вышел из тюрьмы в сентябре 1918 года, когда стало ясно, что война идет к концу. Вместе с многими другими я возлагал большие надежды на Вудро Вильсона. Конец войны был таким стремительным и драматичным, что мы не успели эмоционально перестроиться. Утром 11 ноября, за несколько часов до того, как это стало общеизвестно, я уже знал о достигнутом соглашении. Я вышел из дому и сказал о перемирии первому встречному — бельгийскому солдату, который отозвался словами: "Tiens, c'est chic!"* Я зашел в табачную лавку и сказал об этом продавщице. "Очень рада, — ответила она, — теперь мы наконец избавимся от этих интернированных немцев". В 11 часов, когда было сделано официальное объявление, я шел по Тоттенхэм-Корт-роуд. Через две минуты народ из контор и магазинов повалил на улицы. Люди садились в автобусы и велели водителям везти их куда заблагорассудится. Я видел, как мужчина и женщина, явно незнакомые, встретились на середине улицы и стали целоваться.

(* Вот как! Здорово (франц.))

Ночью я стоял на улице, наблюдая за настроениями толпы, как в тот августовский день четыре года назад. Толпа была беспечна и спокойна, за все это ужасное время люди не научились ничему, кроме того, чтобы с еще большим безрассудством хвататься за каждое самое малейшее удовольствие. Я чувствовал себя отчаянно одиноким в этой веселой толпе — как призрак, явившийся ненароком с другой планеты. Конечно, я тоже радовался, но моя радость была не та, что у остальных. Всю свою жизнь я страстно желал ощутить единение с массой, с толпой, охваченной энтузиазмом. Это страстное желание часто вводило меня в заблуждение. Я воображал себя либералом, социалистом, пацифистом, но в истинном смысле не был ни тем, ни другим, ни третьим. Скептик-интеллектуал в самый неподходящий момент нашептал мне слова сомнения, которые отчуждали меня от беспечного энтузиазма других людей и ввергали в беспросветное одиночество. Во время войны, когда я сотрудничал с квакерами, непротивленцами и социалистами и готов был разделить с ними все огорчения, которые приносит обнаружение непопулярных мнений, я говорил квакерам, что, по моему убеждению, большинство войн в истории человечества оправдано, а социалистам — что мне ненавистна тирания государства. На меня смотрели косо и те и другие и, хотя принимали мою помощь, чуяли во мне чужака. Все, чем я занимался еще в ранней юности, все мои удовольствия были отравлены горечью одиночества. Пожалуй, мне удавалось бежать от него в минуты любви, но по зрелом размышлении я понял, что то была лишь иллюзия бегства. Я не знал ни одной женщины, для которой доводы разума были бы столь же непререкаемы, как для меня, и всякий раз, когда они ставились на карту, я убеждался, что возделенное единомыслие в любви недостижимо. То, что Спиноза назвал "интеллектуальной любовью к Богу", представлялось мне самой желанной путеводной нитью, но в моей душе не было ничего даже отдаленно напоминавшего хотя бы абстрактного Бога, которого позволил себе признать Спиноза и которому я мог бы отдать свою любовь. Я любил призрак, и в любви к призраку призрачной становилась моя собственная личность. Я скрыл ее под маской воодушевления, нежности и радости жизни. Но мои глубинные чувства оставались неразделенными и не встречали сочувствия. Море, звезды, ночной ветер в пустошах значили для меня больше, чем самые любимые существа, и привязанность к человеку была для меня, в сущности, всего лишь попыткой восполнить отсутствующего Бога.

Война 1914-1918 годов все изменила. Я оставил ученые занятия и стал писать совсем другие книги. Изменилось мое представление о человеческой природе. Я впервые понял, что пуританизм не ставит целью счастье человека. Перед лицом смерти я обрел новую любовь к живому. Я понял, что большинство людей дают волю своим разрушительным импульсам из-за несчастий и только радость может построить более совершенный мир. Я увидел, что и реформаторы, и реакционеры подвержены жестокости, и усомнился в целях, которые требуют для своего достижения жесткой дисциплины. Находясь в оппозиции к самой идее общности, видя, как общественные добродетели используются для избиения немцев, трудно было не отказаться от морали в пользу веры. Меня спасло только глубокое сочувствие к мирским страданиям. Я потерял старых друзей и завел новых. Я познакомился с людьми, которыми восхищался, и первым среди них назвал бы Э. Д. Морела*. Мы познакомились в первые дни войны и часто встречались, пока оба не оказались в тюрьме. У него была одна страсть — правдивое представление фактов. Начав с разоблачения бесчинств, творимых бельгийцами в Конго, он не мог принять миф о "маленькой отважной Бельгии". Внимательно изучив дипломатию французов и сэра Эдварда Грея в Марокко, он не мог считать немцев единственными виновниками войны. С неизменной энергией и бесстрашием — он был органически не способен пассивать вперед трудностями, — он делал все, что было в его силах, чтобы открыть людям глаза на истинные причины, заставлявшие правительство посылать молодых людей на бойню. Чаще других противников войны подвергался он нападкам политиков и прессы, как и тех слепцов, которые под влиянием пропаганды наивно верили, что он находится в содержании у кайзера. В конце концов его отправили за решетку, предьявив смехотворное обвинение: за использование секретарши для ведения частной переписки. На самом деле он послал письмо и какие-то документы Ромену Роллану. В отличие от меня он не попал в привилегированную первую категорию, и тюрьма подорвала его здоровье на всю оставшуюся жизнь. Несмотря ни на что, мужество никогда ему не изменяло. Он часто засиживался до глубокой ночи ради Рамсея Макдональда, который зачастую вел себя как последний трус, но когда Макдональду выпала честь формировать правительство; он и не подумал включить в него "германофила" Морела. Морела глубоко ранила его неблагодарность, и вскоре он умер от болезни сердца, которую получил в тюрьме.

(* Эдвард Морел (1873-1924) — английский пацифист.)

Несмотря на расхождения во взглядах, среди квакеров были люди, которые вызывали у меня искреннее восхищение. Могу назвать казначея Антимобилизационного комитета мистера Грабба. Когда мы впервые встретились, это был старик семидесяти лет, очень тихий, всегда державшийся в тени, малоподвижный, сдержанный. Без лишних слов и видимых эмоций он выступал в защиту молодых людей, томящихся в тюрьме, мало заботясь о собственной безопасности. Мой брат находился в зале суда, когда Грабба вместе с группой единомышленников приговорили к тюремному заключению за пацифистские публикации. Брат, не принадлежавший к пацифистскому движению, был потрясен силой характера и цельностью этого человека. Фрэнк сидел рядом с общественным

обвинителем Мэттьюзом, своим другом. Когда тот сел, проведя перекрестный допрос мистера Грабба, брат шепнул ему: "Признаться, Мэттьюз, роль Торквемады тебе не к лицу!" Эта реплика так разозлила Мэттьюза, что он перестал разговаривать с Фрэнком.

Одним из самых забавных случаев, имевших ко мне непосредственное отношение, был вызов в министерство обороны. Вкрадчивые чиновники умоляли меня не терять чувства юмора, ибо, по их мнению, человек с чувством юмора не станет высказываться в пользу непопулярных мнений. Однако их увещевания пропали втуне, а я потом пожалел, что не сказал им, как помирал со смеху каждое утро, читая в газетах о военных потерях.

Когда война кончилась, стало очевидно, что все сделанное мною не принесло никакой пользы никому, кроме меня. Я не спас ни единой жизни и ни на минуту не приблизил конец войны. Не смог сделать ничего такого, что смягчило бы последствия Версальского договора. Однако, как бы то ни было, я не сделался соучастником преступлений воюющих стран, а сам обрел новую философию и новую молодость. Я избавился от резонерства и от пуританства. Выучился понимать язык инстинктов, которым ранее не владел, и отчасти вознаграждал себя за годы одиночества. Во время перемирия многие возлагали большие надежды на Вильсона. Другие искали вдохновляющий пример в большевистской России. Обнаружив, что не могу черпать оптимизм ни в том, ни в другом источнике, я тем не менее не впал в отчаяние. Я считал, что худшее еще впереди. Но это не лишило меня веры в то, что мужчины и женщины в конце концов откроют для себя простую тайну естественных радостей. <...>

Россия

Окончание войны помогло мне избежать неприятностей, которые в противном случае не миновали бы меня. В 1918 году подняли призывной возраст, и я подлежал мобилизации, чему, конечно, никак не мог подчиниться. Меня вызвали на медицинскую комиссию, но, несмотря на все усилия, не смогли вручить мне повестку: правительственные чиновники забыли, что упекли меня в тюрьму. Если бы война еще продлилась, я вскоре опять попал бы туда как узник совести. С финансовой точки зрения конец войны оказался также крайне для меня благоприятным. Я спокойно тратил наследственные деньги, когда работал над "Principia Mathematica". Но совесть не позволяла мне жить на капитал, полученный после смерти бабушки, и я подарил его Кембриджскому университету, Ньюем-колледжу и прочим образовательным заведениям. Избавившись от ценных бумаг, которые я отдал Элиоту, я остался примерно с сотней фунтов ежегодно поступающих незаработанных денег — согласно брачному договору, этот минимум я уже никому не мог передать. Все это меня не пугало, поскольку я научился зарабатывать деньги книгами. Правда, в тюрьме мне разрешалось писать только о математике, а не о том, на чем можно было бы заработать. Так что, выйдя из тюрьмы, я оказался бы без единого пенни в кармане, если бы Сэнгер и некоторые другие друзья не устроили для меня лекции в Лондоне. С окончанием войны я опять мог зарабатывать писательством и уже не испытывал материальных затруднений, если не считать пребывания в Америке.

(...)

Лето, море, природа и хорошая компания плюс любовь и начало мирного времени — чего еще можно было желать! В конце лета я вернулся в квартиру Клиффорда Аллена в Баттерси, а Дора в качестве научного сотрудника Гёртон-колледжа поехала в Париж продолжать свои исследования по зарождению французского вольнодумства XVII—XVIII веков. Мы иногда виделись то в Лондоне, то в Париже. Я все еще встречался с Колетт и пребывал в нерешительности.

На Рождество мы с Дорой встретились в Гааге, куда я приехал повидаться с моим другом Витгенштейном. Впервые я познакомился с Витгенштейном в Кембридже перед войной. Он австриец, отец его был очень богат. Витгенштейн собирался стать инженером и с этой целью отправился в Манчестер. Заинтересовавшись математикой, он начал наводить в Манчестере справки, кто занимается этим предметом. Кто-то упомянул мое имя, и Витгенштейн переселился в Тринити-колледж. Витгенштейн — идеальный пример гения в традиционном смысле слова: страстный, глубокий, неутомимый и властный. Человек необыкновенной чистоты, сравнить его можно разве что с Джорджем Муром. Помню, я как-то взял его с собой на заседание Аристотелевского общества, где собралось много дураков, которым я старался не показывать, что о них на самом деле думаю. По дороге домой он яростно клеймил меня за двоедушие; по его мнению, я должен был сказать им, что они такое. Бурная жизнь Витгенштейна изобиловала всяческими невзгодами, но сила его духа была необыкновенной. Он питался молоком и овощами, и я, бывало, думал о нем словами миссис Патрик Кэмпбелл, которая сказала о Шоу: "Помилуй нас Боже, ежели он как-нибудь съест кусок мяса". Витгенштейн приходил ко мне каждый вечер ближе к полуночи, три часа молча мерил шагами комнату, как дикий зверь. Однажды я спросил его: "Вы размышляете о логике или о собственных грехах?" — "О том и о другом", — ответил он, продолжая шагать. Я боялся сказать ему, что пора спать, потому что и мне и ему было ясно: уйдя из моего дома, он совершит самоубийство. В конце своего первого семестра в Тринити он пришел ко мне с вопросом: "Как вы думаете, я полный идиот?" — "А зачем вам это знать?" — спросил я. Он ответил: "Если я идиот, то стану авиатором, а если нет, буду философом". Я сказал: "Дорогой друг, не знаю, полный вы идиот или нет, но если на каникулах вы напишете эссе на любую интересующую вас философскую тему, я прочту и дам ответ". Он так и сделал, принес мне свою работу к началу следующего семестра. Прочитав первое предложение, я понял, что он гений, и уверил его, что становится авиатором ему ни в коем случае не следует. В начале 1914 года он пришел ко мне чрезвычайно возбужденный и сообщил: "Я уезжаю из Кембриджа, уезжаю сейчас же", — "почему?" — "Потому что муж моей сестры переехал в Лондон, а я не смогу жить рядом с ним". Остаток зимы он провел на севере Норвегии. Еще в начале нашего знакомства я спросил у Джорджа Мура, что он думает о Витгенштейне. "Я о нем очень высокого мнения", — сказал он и на мой вопрос "почему?" ответил: "Потому что он единственный человек, который на моих лекциях выглядит озадаченным".

Когда началась война, Витгенштейн, большой патриот, пошел офицером в австрийскую армию. Первые несколько месяцев можно было писать ему, и он отвечал, а потом переписка прервалась, и я долгое время ничего о нем не слышал, покада через месяц после заключения перемирия не получил от него письмо из Монте-Кассино, в котором сообщалось, что через несколько дней после перемирия он был взят в плен итальянцами, к счастью, вместе со своей рукописью. Оказалось, что в окопах он написал книгу и хотел, чтобы я ее прочитал. Он был из той породы людей, которые не замечают такой малости, как разрывы снарядов, если размышляют над логическими проблемами. Он прислал мне рукопись, которую мы обсуждали в Лалуорте с Дороти Ринч и Нико. Это была книга, опубликованная впоследствии под названием "Логико-философский трактат". Очень важно было встретиться с ним и обсудить ее. Лучше всего в какой-нибудь нейтральной стране. Мы договорились встретиться в Гааге. Но тут возникло неожиданное препятствие. Накануне войны отец Витгенштейна перевел весь капитал в Голландию, так что в конце войны был так же богат, как и до нее. Как раз во время заключения перемирия отец умер, и Витгенштейн унаследовал все его богатство. Однако он придерживался мнения, что деньги для философа — обуза, и все отдал брату и сестрам. В результате ему нечем было оплатить дорогу от Вены до Гааги, а он был слишком горд, чтобы принять деньги от меня. Наконец решение нашлось. В Кембридже оставались его книги и мебель, и Витгенштейн

зъявил желание продать их мне. Я последовал совету агента по продаже мебели, в чьем ведении находились эти вещи, и купил все за предложенную цену. Реальная стоимость была намного выше, так что то была самая выгодная сделка, которую я когда-либо заключал. Благодаря этому Витгенштейн смог добраться до Гааги, где мы провели неделю, обсуждая его книгу строка за строкой, пока Дора ходила в Публичную библиотеку читать речи Сальмазия* против Мильтона.

(* Сомэз (1588—1653) — французский гуманист и полиглот, именовавшийся на латинский манер Сальмазием; автор трактата "Защита короля Карла I", на который Мильтон ответил "Защитой английского народа" и другими трактатами.)

Витгенштейн был не только логиком, но еще и патриотом и пацифистом. Он придерживался очень высокого мнения о русских, с которыми брался на фронте. Он рассказывал, как однажды в галицийской деревушке от нечего делать набрел на книжную лавку, а в ней была одна-единственная книга — размышления Толстого о Евангелии. Он купил ее, прочел, и она оказала на него глубокое действие. На какое-то время он сделался весьма религиозным, ему даже казалось недостойным общаться со мной. Чтобы заработать на жизнь, Витгенштейн уехал учительствовать в начальной школе в австрийской деревне Траттенбах. Он, бывало, писал мне оттуда: "Жители Траттенбаха безнравственны". Я отвечал: "Все люди безнравственны". В ответ он писал: "Это правда, но жители Траттенбаха безнравственны более других". Я отвечал, что такое заявление противно логике. Но у него было оправдание: крестьяне отказывались снабжать его молоком, считая, что арифметика, которой он учит их детей, не имеет никакого отношения к деньгам и материальным расчетам. Он, должно быть, страдал от голода и лишений, но из его уст почти никогда не срывалось ни слова жалобы, он обладал дьявольской гордыней. Его сестре пришла в голову удачная мысль начать строительство дома и нанять его в качестве архитектора. Это обеспечило ему несколько лет безбедного существования, а потом он поступил преподавателем в Кембридж, где сын Клайва Белла* сочинял на него эпиграммы. Он не умел общаться с людьми. Уайтхед так описывал первый визит к нему Витгенштейна: его проводили в гостиную, где семья пила чай; не заметив присутствия миссис Уайтхед, он некоторое время молча шагал из угла в угол, а потом его как прорвало: "Пропозиция имеет два полюса. Это ab ". "Я, — рассказывал Уайтхед, — естественно, спросил, что такое a и b , но осекся, поняв, что сказал глупость. " A и b не определяются", — громовым голосом возгласил Витгенштейн".

(* Клайв Белл (1881—1964) — искусствовед, литературный критик, член "группы Блумсбери".)

Как у всех великих людей, у него были свои слабости. В 1922 году, в самый разгар его мистического вдохновения, когда он со всей серьезностью уверял меня, что лучше быть добрым, нежели умным, выяснилось, что он до ужаса боится ос и клопов и не может из-за них остаться на еще одну ночь в гостинице, которую мы сняли в Инсбруке. После путешествия по России и Китаю я приобрел иммунитет против такого рода неудобств, но в данном случае все доводы были бессильны. Если не считать этих маленьких фобий, он был личностью совершенно необыкновенной.

Почти весь 1920 год я провел в поездках. На Пасху меня пригласили с лекциями в Барселону, в Каталонский университет. Из Барселоны я поехал на Майорку, где остановился в гостинице Соллера. Старый хозяин гостиницы (единственной в этой местности) объяснил, что поскольку он вдовец, то готовить еду не сможет, зато мне позволено в любое время срывать в саду апельсины. Он сказал это с таким величественным видом, что мне ничего не оставалось, как выразить глубочайшую признательность. На Майорке у меня началась великая распря с Дорой, не прекращавшаяся много месяцев на всех широтах и долготах.

Я планировал отправиться в Россию, и Дора собиралась ехать со мной. На мой взгляд, ехать ей туда смысла не было, поскольку она не проявляла особого интереса к политике, тем более что поездка могла оказаться довольно рискованной из-за свирепствовавшего в стране тифа. Но мы оба были неуступчивы, и компромисс был недостижим. До сих пор считаю, что прав был я, а она думает, что права была она.

Вскоре после возвращения с Майорки выдался случай ехать в Россию. Туда отправлялась делегация лейбористов, которые пожелали, чтобы я отправился вместе с ними. Правительство рассмотрело мое заявление, и после беседы у Г. А. Фишера* мне разрешили присоединиться к ним. Договориться с советским правительством было гораздо труднее, и когда я уже добрался до Стокгольма, Литвинов все еще отказывал мне в разрешении на въезд, несмотря на то что мы сидели вместе в тюрьме Брикстон. Наконец все недоразумения с советским правительством были улажены. Компания у нас подобралась забавная. Миссис Сноуден, Клиффорд Аллен, Роберт Уильямс, Том Шоу, невероятно толстый и старый трейд-юнионист по имени Бен Тернер, совершенно беспомощный без жены и просивший Клиффорда Аллена снимать ему ботинки, Хейден Гест, сопровождавший делегацию как врач, и еще несколько профсоюзных чиновников. В Петрограде, где в наше распоряжение предоставили императорский автомобиль, миссис Сноуден, сидя за рулем, восхищалась его роскошью и выражала сочувствие "бедному царю". Она и Хейден Гест, теософ с пылким темпераментом и непомерным либидо, были настроены антибольшевистски. Роберт Уильямс чувствовал себя в России абсолютно счастливым; он был, пожалуй, единственным, кто произносил речи во славу советского правительства. Он все время твердил, что в Европе назревает революция, и Советы воспользовались его услугами. Я предупреждал Ленина, что Уильямсу нельзя верить. На следующий год, в Черную пятницу**, он сбежал. Еще с нами был Чарли Бакстон, который через пацифизм пришел к квакерству. Когда мы жили в одном номере, он прерывал меня на полуслове, чтобы сотворить молчаливую молитву. К моему удивлению, пацифизм не привел его к осуждению большевиков.

(* Гербер Альфред Фишер (1865—1940) — английский историк и государственный деятель.)

(** "Черная пятница" — пятница 15 апреля 1921 г., день срыва забастовки солидарности английских горняков, против которых были брошены правительственные войска.)

Для меня время, проведенное в России, превратилось в постепенно усиливавшийся кошмар. Я предал бумаге свои размышления, в которых, на мой взгляд, отразилась правда, но не тот ужас, который владел мною там. Жестокость, бедность, подозрительность, преследования наполняли самый воздух, которым мы дышали. Наши разговоры постоянно прослушивались. Ночи оглашались выстрелами — это убивали в тюрьмах несчастных идеалистов. Все было пропитано лицемерием, люди называли друг друга "товарищ",

но как по-разному звучало это слово применительно, скажем, к Ленину или ленивому официанту! Как-то в Петрограде (так назывался в ту пору этот город) ко мне явилась четверка одетых в лохмотья людей, заросших щетиной, с грязными ногтями, спутанными волосами. То были самые известные поэты России. Одному из них позволили зарабатывать на жизнь чтением лекций по стихосложению, если он будет освещать предмет с марксистских позиций, и он жаловался, что хоть убей не может понять, при чем тут Маркс.

Другие оборванцы, с которыми я встретился, были членами Петроградского математического общества. Я присутствовал на одном из заседаний этого Общества, слушал доклад по неевклидовой геометрии. Я ничего не мог понять, кроме формул, записанных на доске, но, судя по ним, это был вполне компетентный доклад. В Англии я никогда не видел таких униженных и жалких бродяг, как петроградские математики. Мне не разрешили встретиться с Кропоткиным, а вскоре он умер. Представители правящего класса выглядели не менее самоуверенно, чем выпускники Итона или Оксфорда. Они были убеждены, что с помощью своей формулы счастья решат все проблемы. Те, что были поумнее, понимали, что это не так, но не осмеливались говорить вслух. Однажды в конфиденциальной беседе врач по фамилии Залкинд стал говорить, что климат оказывает большое влияние на характер, но вдруг осекся и сказал: "Это, конечно, не так. На характер воздействуют только экономические условия". На моих глазах все, что представлялось мне ценным в человеческой жизни, разрушалось в интересах узколобой философии, которую вдабливали в ум многомиллионного народа, живущего в нищете, о которой запрещалось говорить. С каждым днем, проведенным в России, ужас мой усиливался, в конце концов я потерял всякую способность к объективному суждению.

Из Петрограда мы поехали в Москву, это очень красивый город и благодаря ориентальным мотивам архитектурно более интересный, чем Петроград. Меня ставила в тупик изобретательность большевиков, одержимых идеей массового производства. Главная трапеза, начинавшаяся около четырех часов, включала помимо прочего рыбы головы. Мне так и не удалось узнать, куда же девались рыбы тушки, предполагаю, что их съедали народные комиссары. Москва-река кишела рыбой, но ловить ее на удочку не дозволялось, поскольку еще не было придумано более современного способа ловли. Город почти умирал с голоду, а кормить народ продолжали рыбьими головами, выловленными с помощью траулеров, потому что тушки пришлось бы добывать примитивным образом.

Когда мы плыли на пароходе по Волге, Клиффорд Аллен заболел острой пневмонией, которая вызвала обострение туберкулеза. Мы следовали до Саратова, но Аллен был так плох, что его нельзя было снимать с парохода, поэтому Хейден Гест, миссис Сноуден и я оставались на борту до самой Астрахани. Каюта у него была очень тесная, а жара стояла невыносимая. Иллюминаторы приходилось держать плотно задраенными из-за малярийных комаров, к тому же Аллен страдал от жестокой диареи. Мы ухаживали за ним посменно, и хотя на пароходе была русская медсестра, она отказывалась сидеть при нем по ночам, опасаясь, что он умрет и ее схватит дух мертвеца.

Астрахань я могу сравнить только с адом. Воду для городских нужд брали в той части реки, куда суда сбрасывали отходы. На улицах стояли лужи, где размножались миллионы комаров; ежегодно треть жителей болела малярией. Канализационной системы не было вовсе, и на видном месте в центре города возвышалась гора экскрементов. Чума приобретала эпидемический масштаб. Недавно, во время гражданской войны, здесь проходили бои с войсками Деникина. Мух было столько, что во время еды блюда накрывали салфетками, надо было быстренько сунуть руку под салфетку, схватить кусок и молниеносно отправить в рот. Сама салфетка моментально становилась черной от мух. Город располагается в основном ниже уровня моря, и температура достигала пятидесяти градусов по Цельсию. Местным врачам советские начальники велели внимательно выслушать все, что скажет Хейден Гест насчет борьбы с малярией. Как специалист-эпидемиолог он работал в расположении британской армии в Палестине. Он прочитал замечательную лекцию, по завершении которой астраханцы сказали: "Да, все это мы тоже знаем, но здесь слишком жарко". Подозреваю, что подобные высказывания могли стоить докторам жизни, но в данном случае об их дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно. Самый авторитетный из них обследовал Клиффорда Аллена и сказал, что тот вряд ли протянет и несколько дней. Когда спустя полмесяца его обследовал доктор уже в Ревеле и сказал то же самое, я уже знал, как сильна у Аллена воля к жизни, и не так испугался. Он прожил еще много лет и стал украшением палаты лордов.

По возвращении в Англию я попытался выразить свое мнение, значительно изменившееся за время поездки, в виде писем к Колетт, соответственно изменив даты. Последнее из них я потом опубликовал в книге о Китае. Поскольку там гораздо точнее отражаются мои тогдашние впечатления, чем я мог бы обрисовать их сейчас, я и помещаю их здесь.

24 апреля 1920 г.

Лондон

Приближается день моего отъезда. Надо переделать тысячу дел, а я сижу и предаюсь бесплодным размышлениям, бесполезным, мятежным размышлениям, которым никогда не предаются здравомыслящие люди, размышлениям, которые надо вытеснять работой, но вместо этого сами вытесняют работу. Завидую тем, кто всегда верит в то, во что верит, кого не беспокоит равнодушие к тому, что выходит за рамки собственной частной жизни. Я притянул на то, чтобы приносить пользу другим, чтобы достичь каких-то значительных результатов, чтобы дать людям новую надежду. И теперь, когда цель близка, все это кажется мне прахом и тленом. Когда я смотрю в будущее, мой разочарованный взгляд видит лишь борьбу, одну лишь борьбу, растущую жестокость, тиранию, террор и рабскую покорность. Человечество моей мечты — гордые, бесстрашные, благородные люди — придут ли они когда-нибудь на нашу землю? Или они обречены воевать, убивать, мучить друг друга до конца времен, пока земля не остынет и затухающее солнце не перестанет согревать их бессмысленное иступление? Не знаю. Ощущаю лишь отчаяние. Я познал беспросветное одиночество, идя путем земли, как призрак, голос которого никто не слышит, блуждая, как пришелец с другой планеты.

Нет конца вечной вражде, вражде между маленькими радостями и великой болью. Я знаю, что маленькие радости — это смерть, и все же — я так устал, я так сильно устал. Во мне не на жизнь, а на смерть борются разум и чувство, отнимая всю мою энергию, которую я мог бы потратить в своих целях. Я знаю, что без борьбы не достичь ничего стоящего, ничего не достичь без жестокости, организованности и дисциплины. Я знаю, что ради коллективного действия индивид должен быть превращен в механизм. И хотя разум понуждает в это верить, меня это не вдохновляет. Я люблю отдельную человеческую душу в ее одиночестве, в ее надеждах и страхах, внезапных порывах и странных привязанностях. Как далеко от нее до армий, государств и чиновников; но проделать этот путь — единственный способ избежать бесполезной чувствительности.

В суровые годы войны я мечтал о счастливом дне, когда она кончится, когда мы сядем с тобой в солнечном саду у Средиземного моря, наполненном ароматом гелиотропа, окруженном кипарисами и священными падубовыми рощами, — и тогда, наконец, я смогу сказать тебе о моей любви и прикоснуться к радости столь же настоящей, как и боль. Это время пришло, но у меня другие дела, а у тебя иные желания; и когда я сижу, погруженный в свои мысли, все дела кажутся мне тщетными, а все желания бессмысленными.

И это не подвигает меня к действиям.

12 мая 1920 г.

Петроград

Наконец я здесь, в городе, который открыл миру новую страницу истории, разжег самую смертельную ненависть и самые безумные надежды. Откроет ли он мне свою тайну? Узнаю ли я его сокровенную душу? Или получу только статистические данные и голые факты? Пойму ли я то, что увижу, или все это останется для меня странным и непонятным спектаклем? Глухой ночью мы вышли на пустой станции, и наш автомобиль загрохотал по спящим улицам. Из окна гостиницы я смотрел через Неву на Петропавловскую крепость. Река тускло блестела в свете северной зари; нельзя выразить словами, как прекрасен был вид, как наполнен чарами волшебной вечной мудрости. "Чудесно", — сказал я стоявшему рядом большевику. "Да, — отозвался он. — Теперь в Петропавловке не тюрьма, а Генеральный штаб".

Я встряхнулся. "Приди в себя, дружище, — мысленно сказал я себе, — ты тут не турист, и не дело млеть от рассветов, закатов и достопримечательностей, отмеченных в путеводителе; ты здесь для того, чтобы провести социальное исследование, изучить экономику и политику. Очнись от грез, забудь о вечности. Люди, к которым ты приехал, называли бы все это буржуазными фантазиями бездельника, и положила руку на сердце ты мог бы с ними согласиться". И я вступил в разговор, пытаюсь выяснить, как купить зонт в советском магазине, что оказалось столь же непостижимо, как ускользающая суть последних тайн бытия.

Двенадцать часов, которые я уже потратил на разгадки русской души, дали пока лишь повод для иронии. Я был готов к материальным трудностям, неудобствам, грязи и голоду, которые, я полагал, должно скрасить ощущение великой надежды. Наши товарищи-коммунисты, без сомнения правомерно, сочли за лучшее избавить нас от лишений. Не успели мы вчера после обеда пересечь границу, как нам уже устроили два банкета, накормили хорошим завтраком, угостили первоклассными сигарами, а ночь я провел в огромной дворцовой спальне, сохранившей всю старорежимную роскошь. На всем пути следования наш вагон тщательно отделяли от толпы цепью солдат. Кажется, меня погрузили в великолепие огромной военной империи. Так что надо перенастроиться. Для этого нужен цинизм, а у меня его маловато. В результате я задаю себе один и тот же вопрос: в чем тайна этой раздираемой страстями страны? Ведома ли она большевикам? Догадываются ли они вообще о существовании такой тайны? Сомневаюсь.

13 мая 1920 г.

Петроград

Я попал в странный мир, мир умирающей красоты и тяжелой жизни. Меня все время тревожат фундаментальные вопросы, страшные, неразрешимые вопросы, которые никогда не задают себе мудрые люди. Пустые дворцы, и переполненные столовые, разрушенное или мумифицированное в музеях бывшее великолепие и наряду с этим расползающаяся по городу (благодаря вернувшимся беженцам) самоуверенная американизация. Все систематизируется; все должно быть организовано и справедливо распределено. Одно и то же образование для всех, одно и то же жилье, одни и те же книги и одна на всех вера в то, что происходящее совершенно: для зависти нет места, разве что к счастливым жертвам несправедливости, живущим за границей.

Потом я пытаюсь взглянуть на то же самое с точки зрения оппонента. Вспоминаю "Преступление и наказание" Достоевского, "В людях" Горького, "Воскресение" Толстого. Думаю о жестокости и разрушениях, на которых было построено бывшее великолепие; о бедности, пьянстве, проституции, прожитых впустую жизнях; думаю о поборниках свободы, томившихся в Петропавловской крепости; вспоминаю убийства, погромы, избиения. Через ненависть к прошлому я становлюсь терпимее к новому, но не могу возлюбить это новое ради него самого.

И все же я виню себя за то, что не могу его полюбить. В нем проявились обычные для всего нового свойства — безобразие, брутальность, но в то же время — энергия созидания, и вера в истинную ценность творимого. Когда создаешь механизм общественной жизни, некогда задумываться о чем-либо ином. Когда же новое общество будет в основном построено, появится время задуматься о том, как вдохнуть в него душу, — так я, по крайней мере, считаю. "У нас нет времени для нового искусства и новой религии", — нетерпеливо говорили мне. Возникает, однако, вопрос: можно ли сперва создать тело и только потом впрыснуть в него соответствующее количество души? Может быть, но я как-то сомневаюсь.

Я не нахожу никакого теоретического ответа на эти вопросы, зато на них яростно отвечают мои чувства. Я бесконечно несчастен в этой атмосфере — удушающей атмосфере примитивной целесообразности, безразличия к любви и красоте, к спонтанности жизни. Я не способен придавать такое значение примитивным нуждам, как здешние власти. Это несомненно связано с тем, что мне не пришлось провести в нужде и голоде полжизни, как им. Но разве нужда и голод и впрямь делают человека мудрее? Разве они помогают ему осознать идеалы, которые должны вдохновлять каждого реформатора? Не могу избавиться от мысли, что они скорее сужают горизонт, чем раздвигают его. И все же червь сомнения грызет меня, и я разрываюсь между двумя ответами на этот вопрос...

2 июня 1920 г.

На Волге

День за днем плывет наш пароход вдоль неизвестных таинственных берегов. Компания у нас шумная, веселая, задиристая, охотно изобретающая всяческие теории для объяснения всего и вся, уверенная в том, что нет ничего и никого, что ей не под силу понять. Один из нас лжет, стоя одной ногой в могиле (Клиффорд Аллен), из последних сил сражаясь с собственной слабостью и равнодушием тех, кто в добром здравии, под денный и ночный аккомпанемент любовных воплей и смеха. А вокруг — великое безмолвие, необоримое, как Смерть, неисчерпаемое, как небо. Однако слушать это молчание всем недосуг, хотя оно так неотступно зовет Меня, что я остаюсь глух к пропагандистским речам и бесконечной болтовне тех, кто в курсе всего на свете.

Прошлой ночью, очень поздно, наш пароход причалил к безлюдной пристани, где не было домов, только пустынный песчаный берег, а за ним — тополя и восходящая над ними луна. В молчании я сошел на берег и увидел на песке странное поселение — беженцев, спасающихся от голода. Каждое семейство со всеми своими пожитками молча сидело вокруг своего костерка, кто-то спал, кто-то

бодрствовал. Неверное пламя освещало изнуренные бородастые лица одичавших мужчин, исполненные терпения примитивные лица женщин, по-взрослому медлительных ребятишек. Это, конечно, были человеческие существа, но мне было бы проще заговорить с собакой, кошкой или лошастью, чем с кем-нибудь из них. Я понял, что они просидят тут долгие дни, может быть недели, пока не придет пароход, который отвезет их туда, где, как они слышали — хотя информация вряд ли верна, — лежит земля добрее той, что им пришлось покинуть. Многие погибнут по дороге, они будут страдать от голода, жажды и палящего солнца, но никто не откликнется на их страдания. Для меня они олицетворяли самую душу России, безмолвную, пассивную в своем отчаянии, неслышную небольшой группе людей на Западе, создающих партии прогресса и реакции. Россия столь обширна, что те немногие, кто способен к самовыражению, теряются в ее просторах, как планета Земля в межзвездном пространстве. Мне казалось, что теоретики лишь увеличат несчастья большинства людей, заставляя их предпринимать действия, противные основным человеческим инстинктам, я не мог поверить, что большинство можно осчастливить, уповав на индустриализацию и принудительный труд.

Тем не менее, когда наступило утро, я вновь вступил в бесконечные дискуссии о материалистическом понимании истории и преимуществах подлинно народного правления. Те, с кем я все это обсуждал, не видели скитальцев на берегу, но даже если бы и видели, пренебрегли бы ими, ибо для пропаганды они не имели никакого значения. Однако что-то от их покорного молчания передалось и мне, что-то невыразимое вошло в мое сердце, несмотря на привычную и такую уютную интеллектуальную болтовню. В конце концов мне стало казаться, что, политика — дьявольское наваждение, с помощью которого энергичные и быстрые умом мучают смиренные народы — ради кошелька, власти или науки. Пока мы путешествовали, подкрепляя себя пищей, отнятой у крестьян, под охраной солдат, набранных из их сыновей, я думал о том, что мы можем дать им взамен. И не нашел ответа. Время от времени я слышал их печальные песни, слушал звуки балалайки; но звуки таяли в великом молчании степи, оставляя мне лишь грызущую безответную боль, рядом с которой тускнел луч случайной надежды.

Свердлов, министр транспорта (выражаясь по-нашему), сопровождавший нас в поездке по Волге, проявил чрезвычайную заботливость к Аллену. От Саратова до Ревеля мы проделали путь в вагоне, принадлежавшем царским дочерям, так что Аллену не пришлось сделать ни шагу. Судя по вагону, у царского семейства были странные привычки. Там находилась удобная софа с поднимающимся сиденьем, под которым были проделаны три отверстия для санитарных нужд. На пути домой, уже в Москве, мы яростно поспорили с Чичериным, который не разрешал Аллену уезжать из города, пока его не осмотрят два советских врача, причем сказал, что врачей сможет прислать только через два дня. В разгар нашей ссоры, на лестнице, я дал себе волю, потому что Чичерин был другом моего дяди Ролло и я возлагал на него большие надежды. Я кричал, что объявлю его убийцей. Нам, как и самому Аллену, казалось, что надо как можно скорее выбраться из России и любая задержка опасна для жизни. Наконец был достигнут компромисс: докторов вызвали сразу. Фамилия одного была Попов, фамилию другого я забыл. Советские чиновники считали, что Аллен к ним дружески расположен, а мы с Гестом и миссис Сноуден желаем ему смерти, чтобы лишить возможности свидетельствовать в их пользу.

В Ревеле я случайно познакомился с миссис Стэн Хардинг. Она направлялась в Россию преисполненная энтузиазма. Я как мог пытался развеять ее иллюзии относительно большевиков, но безуспешно. Едва она приехала, как ее засадили в тюрьму и держали там восемь месяцев. Освободили ее только благодаря настоятельным требованиям британского правительства. Вина за это лежала главным образом не на Советах, а на некой миссис Харрисон, богатой американке, которая плыла вместе с нами по Волге. Она явно была очень запугана и стремилась вырваться из России, но большевики держали ее под надзором. К ней приставили согластат по фамилии Аксенов, который занимался своим ремеслом еще при старом режиме; он следил за каждым ее шагом и прислушивался к каждому ее слову. У него была длинная борода, меланхоличное выражение лица, и он сочинял по-французски декадентские стишки — весьма изящные. В ночном поезде он ехал в том же купе, что и она; на пароходе, едва кто-нибудь начинал с ней разговор, он тут же подкрадывался и молча стоял рядом. Он умел замечательно подкрадываться. Мне было жаль бедняжку, а зря. Миссис Харрисон оказалась американской шпионкой, услугами которой пользовались и в Британии. Русские пронюхали, кто она такая, но сохранили ей жизнь — при условии, что она будет шпионить и в их пользу. Однако она саботировала, выдала их друзей, а врагам помогла бежать. Миссис Хардинг знала, что она шпионка, и американка постаралась от нее поскорее избавиться. Поэтому она выдала миссис Хардинг советским властям. Несмотря на все это, женщина она была очаровательная и ухаживала за Алленом гораздо более умело и самоотверженно, чем его старые друзья. Когда правда вышла наружу, Аллен упорно отказывался слышать о ней хоть одно худое слово.

Ленин, с которым я имел часовую беседу, меня разочаровал. Не то чтобы я прежде считал его великим человеком, но в ходе нашей беседы я убедился в его ограниченности, узколобом понимании марксистской ортодоксии, а также заметил в нем нескрываемую озлобленность и жестокость. Об этом разговоре, так же как и вообще о своих приключениях в России, я рассказал в книге "Практика и теория большевизма".

В то время из-за блокады России никакой почтовой и телеграфной связи с ней не было. Но как только мы приехали в Ревель, я послал Дору телеграмму. К моему удивлению, ответа не последовало. Из Стокгольма я телеграфировал ее друзьям в Париж, пытаясь выяснить, где она, и мне ответили, что в последний раз получили от нее весточку из Стокгольма. Я предположил, что она выехала навстречу мне, но, понапрасну прождав встречи целые сутки, случайно услышал от одного финна, что она отбыла в Россию через Нордкап. Я воспринял это как очередной ход в нашем затянувшемся споре о России и страшно разволновался, опасаясь, что ее посадят в тюрьму, поскольку цель ее приезда большевикам была неизвестна. Не в силах помочь делу, я вернулся в Англию, где пытался прийти в себя после шока, который испытал в России. Вскоре я стал получать письма от Доры, которые привозили из России друзья. К моему величайшему изумлению, Россия ей в такой же мере понравилась, в какой я ее возненавидел. Интересно, думал я, сможем ли мы когда-нибудь преодолеть наши разногласия? Между тем среди писем, дожидавшихся моего возвращения в Англию, было одно из Китая с приглашением приехать на год для чтения лекций. Приглашение последовало от Китайской лекционной ассоциации, озабоченной уровнем национального образования и принявшей решение импортировать по одному именитому иностранцу ежегодно. В прошлом году они приглашали доктора Дьюи*. Я решил, что приму приглашение, только если Дора согласится со мной поехать, и никак иначе. Проблема заключалась в том, чтобы связаться с ней в условиях блокады. В Ревеле я познакомился с одним кватером, Артуром Уоттсом, который часто ездил в Россию, и я послал ему телеграмму, которая обошлась мне в несколько фунтов, где подробно объяснял обстоятельства дела, просил по возможности найти Дору и передать мое предложение. Мне повезло, идея сработала. Чтобы успеть к сроку, возвратиться ей следовало немедленно. Большевики поначалу решили, что это ловкий трюк с моей стороны, но в конце концов ей удалось уехать.

(* Джон Дьюи (1859-1952) — американский философ-прагматик.)

Мы отправились в Китай из Марселя на французском пароходе "Портос". Накануне отъезда из Лондона стало известно, что из-за случая чумы на борту отплытие задерживается на три недели. Нам вовсе не хотелось еще раз переживать процедуру прощания, поэтому мы все же поехали в Париж и провели три недели там. За это время я закончил книгу о России и, поколебавшись, решил ее напечатать. Выступать против большевизма значило, конечно, играть на руку реакции, и большинство моих друзей считали, что нельзя обнародовать правду о России, если только она не в ее пользу. Я, однако, во время войны приобрел иммунитет к подобным аргументам патриотов и полагал, что ничего хорошего из молчания не выйдет. Правда, дело осложнялось нашими с Дорой отношениями. Душной летней ночью, когда она уснула, я встал с постели и вышел на балкон посоветоваться со звездами. Мне хотелось разобраться во всем, отрешившись от дискуссионных страстей, и я устремил взор к Кассиопее. Мне показалось, что я скорее войду в гармонию со светилами, если опубликую то, что думаю о большевизме. Потому я продолжил работу и закончил книгу вечером накануне отъезда в Марсель.

(...)

Вояж длился пять или шесть недель, так что у нас была возможность довольно близко познакомиться со своими спутниками. Французы были в основном из чиновного класса, а англичане — бизнесмены и каучуковые плантаторы. Англичане и французы постоянно ссорились, а мы улаживали конфликты. Однажды англичане попросили меня рассказать о советской России. Понимая, перед кем выступаю, я говорил о советском правлении только похвальные вещи, чем вызвал бурю негодования. Когда мы прибыли в Шанхай, наши соотечественники-англичане послали телеграмму в генеральное консульство в Пекине с требованием запретить нам высадку на берег. Мы утешались, вспоминая о том, что приключилось с главным нашим врагом в Сайгоне. В Сайгоне хозяин слона продавал зрителям бананы, которыми они его кормили. Мы дали животному по банану, и он нам вежливо поклонился, а наш враг пожадничал, и слон, подученный хозяином, облил его грязной водой, изрядно попортив щегольской костюм. Может быть, наше тогдашнее веселье не прибавило нам расположения с его стороны.

В Шанхае нас никто не встретил. У меня еще дома возникло смутное подозрение, уж не разыгрывают ли нас, и чтобы удостовериться в том, что приглашение настоящее, попросил китайцев оплатить мой проезд. Вряд ли, думал я, найдется охотник заплатить за свою шутку 125 фунтов. Но когда никто не встретил нас на пристани, мои страхи ожили, и мы уже начали думать, как бесславно возвратимся домой. Оказалось, что наши друзья просто перепутали время прибытия парохода. Скоро встречающие поднялись на борт и отвезли нас в китайскую гостиницу, где мы провели три незабываемых дня. (...)

В Шанхае мы без конца встречались с множеством людей — европейцев, американцев, японцев, корейцев и, разумеется, китайцев. Многие из тех, кто приходили к нам, были не в ладах друг с другом; не ладили, например, японцы и корейцы-христиане, которых выслали из страны за терроризм. (В Корее тогда слово "христианин" было синонимом бомбометателя.) Таким образом, нам приходилось сажать гостей подальше друг от друга и беспрестанно дрейфовать от одного стола к другому. Мы посетили пышный банкет, на котором китайцы произносили речи в лучших английских традициях, с обычными шутками. Мы впервые имели дело с китайцами и были приятно удивлены их остроумием и легкостью в общении. В то время я еще не знал, что цивилизованный китаец — самый цивилизованный в мире человеческий экземпляр. Меня пригласил на обед Сунь Ятсен, но, к моему величайшему сожалению, назначил день после нашего отъезда, так что я вынужден был отказаться. Вскоре он отправился в Кантон, чтобы возглавить национальное движение, охватившее впоследствии всю страну, и поскольку в Кантон я поехать не смог, то так его и не увидел.

Китайские друзья возили нас на два дня в Ханчжоу, полюбоваться Западным озером. В первый день мы плавали в лодке, во второй проделали путь по берегу на носилках. Это была волшебная красота древней цивилизации, превосходящая даже красоты Италии. Оттуда мы поехали в Нанкин, а из Нанкина пароходом в Ханькоу. Дни, проведенные на реке Янцзы, были так же прекрасны, как ужасны дни на Волге. Из Ханькоу мы отправились в Чанша, где проходила конференция по вопросам образования. Хозяева хотели, чтобы мы остались на неделю и ежедневно выступали с лекциями, но мы так устали и так хотели отдохнуть, что спешили в Пекин, поэтому пробыли только сутки, несмотря на то, что сам губернатор Хунаня оказывал нам всяческие почести и предоставил специальный поезд для путешествия по Учану.

Чтобы отплатить за гостеприимство, я прочел четыре лекции, выступил с двумя докладами и речью на вечернем заседании — все это в течение тех самых суток. В Чанша не было современных отелей, и нас любезно предложили приютить у себя миссионеры, но дали понять, что нам с Дорой придется ночевать порознь. Мы предпочли остановиться в китайской гостинице. Удовольствия это нам не доставило. Всю ночь нас атаковали полчища клопов.

Дуцзюнь (губернатор, командующий войсками провинции) устроил пышный банкет, на котором мы познакомились с супругами Дьюи, которые были чрезвычайно добры к нам, и потом, когда я заболел, Джон Дьюи очень помог нам обоим. Мне рассказывали, что, когда он пришел навестить меня в больнице, его тронули мои слова, произнесенные в горячке: "Мы должны выработать план достижения мира". На банкете присутствовало около сотни гостей. Мы собрались в огромном зале, а потом перешли в другой, где начался праздник, который невозможно описать словами. В разгар праздника губернатор извинился за скромное угощение и прибавил, что мы, вероятно, хотели бы увидеть повседневную жизнь, а не показную пышность. К великому сожалению, я не нашелся и не смог сказать в ответ ничего остроумного, но, надеюсь, переводчик исправил мою неловкость. Мы покидали Чанша во время лунного затмения и видели разложенные костры, слышали, как бьют в гонги, чтобы напугать Небесного Пса, — то есть насладились всем китайским традиционным ритуалом. Из Чанша мы отправились напрямик в Пекин, где впервые за десять дней смогли принять ванну.

Первые месяцы в Пекине были временем полного и абсолютного счастья. Все беды и неприятности забылись. Наши китайские друзья проявляли к нам исключительную любезность. Работа была интересна; а сам Пекин невероятно прекрасен.

В нашем распоряжении были слуга, повар и рикша. Слуга немного говорил по-английски, и с его помощью нас понимали окружающие. Процесс привыкания шел здесь легче, чем шел бы в Англии. Мы наняли повара заранее и велели приготовить обед к нашему вселению. Обед был готов вовремя. Слуга был в курсе всех дел. Однажды нам понадобилась мелочь, а у нас в старом столе лежала китайская монета, которую мы считали равной доллару. Мы описали ее местонахождение слуге и велели принести. Он мгновенно ответил: "Нет, мадам. Он плохой". Мы также пользовались услугами уборщицы. Мы наняли ее зимой, держали до лета, с удивлением замечая, что зимой она была довольно толстой и неуклюжей, а с наступлением теплых дней становилась все стройней и стройней, снимая с себя плотную одежду и одеваясь в элегантные летние платья. Нам пришлось самим обставить дом, и мы купили отличную мебель в

магazine подержанных вещей. Китайские друзья не могли понять предпочтения, которое мы отдавали старинным китайским вещам перед современной мебелью из Бирмингема.

При нас состоял официальный переводчик, которому было поручено заботиться о нас. Он прекрасно владел языком и особенно гордился умением шутить по-английски. Звали его мистер Чжао, и когда я показал ему свою статью "Причины современного хаоса", он заметил: "Наверное, причины современного хаоса заключаются в том, что мы не распростились со вчерашним хаосом". Мы с ним крепко подружились. Он был помолвлен с китайкой, и я даже помог ему устранить некоторые трудности, которые мешали их свадьбе. Мы до сих пор изредка переписываемся, а несколько раз он вместе с женой приезжал навестить меня в Англию.

Лекции отнимали много времени, вдобавок я вел семинар у аспирантов. Все слушатели, кроме одного, племянника императора, были большевиками. Один за другим они уехали в Россию. Это были прелестные молодые люди, в которых ум сочетался с естественностью, любознательные, стремившиеся сбросить оковы китайского традиционализма. (...)

Национальный университет в Пекине, где я читал лекции, — замечательное учреждение. Его президент и вице-президент были горячими сторонниками модернизации. Таких законченных идеалистов, как вице-президент, я больше нигде не встречал. Фонды, из которых выплачивалось жалованье, были в руках Дуцзюня, так что преподавательская деятельность велась, в сущности, не за деньги, а из любви. Студенты стояли этой любви. Они жаждали знаний и готовы были на любые жертвы ради будущего своей страны. Атмосфера была наэлектризована предвкушением великого возрождения. После многовековой изоляции Китай ощутил себя частью современного мира, а реформаторы еще не заразились корыстолюбием и соглашательством. Англичане скептически посматривали на сторонников реформ и твердили, что Китай останется Китаем. Меня уверяли, что глупо слушать вздорные речи незрелых юнцов, но через несколько лет эти незрелые юнцы подчинили себе Китай и лишили англичан многих дорогих им привилегий.

Когда к власти в Китае пришли коммунисты, британская политика по отношению к нему стала более цивилизованной, чем политика Соединенных Штатов; но до этого времени все было ровно наоборот. В 1926 году британские войска трижды применяли оружие против демонстраций безоружных студентов. Многие были убиты или ранены. Я выразил в прессе резкий протест против этих акций; мое заявление напечатали сначала в Англии, а потом перепечатали во всех китайских газетах. Вскоре после этого случая в Англию прибыл работавший в Китае американский миссионер, с которым я переписывался. Он рассказал, что негодование китайцев достигло такого накала, что возникла реальная угроза для жизни англичан. Он даже сказал — хотя это звучало неправдоподобно, — что англичане в Китае уцелели благодаря мне, поскольку я внушил китайцам мысль, что не все представители моей нации негодяи. Как бы то ни было, враждебность я испытал и на себе, и не только со стороны англичан в Китае, но и со стороны британского правительства.

Белые люди в Китае не подозревали о многих вещах, о которых были прекрасно осведомлены коренные жители. Как-то раз банк (американский) выдал мне банкноты французского банка, которые китайские торговцы отказались принимать. Мой банк выразил недоумение и выдал мне другие банкноты. А три месяца спустя, к удивлению всех "белых" банков в Китае, французский банк лопнул.

Англичанин на востоке, насколько я мог судить, — человек, совершенно оторванный от среды. Он играет в поло и ходит в свой клуб. Представление о культуре страны проживания складывается у него из книг миссионеров XVIII века, и он точно так же презирает восточную интеллигенцию, как интеллигенцию отечественную. В ущерб нашей политической мудрости, он упускает из виду тот факт, что на востоке образованных людей уважают, поэтому просвещенные радикалы возымели власть, немыслимую для Англии. Макдональд являлся в Виндзорский дворец на полусогнутых, а китайские реформаторы не оказывали такой чести своему императору, хотя наша монархия по сравнению с китайской находилась еще в пеленках.

Свои мысли о том, что следует сделать в Китае, я выразил на страницах книги "Проблема Китая" и не буду повторяться.

Несмотря на то, что Китай находился в брожении, нам он по сравнению с Европой показался страной философского спокойствия. Раз в неделю приходила почта из Англии, и газетные полосы, как и письма, обдавали нас жарким дыханием безумия. Поскольку нам приходилось работать по воскресеньям, мы завели привычку отдыхать по понедельникам и; как правило, проводили весь день в Храме Неба, самом прекрасном сооружении из всех, что мне довелось когда-либо видеть. Мы сидели на зимнем солнышке, почти не разговаривая, впитывая безмятежный покой, и уходили, набравшись сил, чтобы в очередной раз с надлежащим бесстрашием встретить безумные распри, терзающие наш бедный континент. Иногда мы гуляли по знаменитой Китайской стене. Как сейчас помню одну такую прогулку, которая началась на закате и продолжалась при полной луне.

Китайцы обладают (или обладали) очень близким мне чувством юмора. Может быть, коммунизм уничтожил его, но тогда они очень напоминали мне героев их старинных книг. Как-то жарким днем два толстых пожилых бизнесмена пригласили меня проехаться в автомобиле за город, к знаменитой полуразрушенной пагоде. Когда мы добрались до места, я поднялся по винтовой лестнице, ожидая, что они последуют за мной, но сверху увидел, что они и не думают этого делать. Я спросил почему, и они с достоинством ответили: "Мы собирались подняться и обсудили этот вопрос между собой. Прозвучало много веских аргументов за и против, но последний перевесил все прочие. Пагода может обрушиться каждую минуту, и на этот случай хорошо иметь свидетелей гибели известного философа".

Они подразумевали, что день стоял слишком жаркий, а они были слишком тучными.

У многих китайцев необыкновенно утонченное чувство юмора, они наслаждаются шуткой, которую другие не понимают. Когда я уезжал из Пекина, мой друг подарил мне гравюру с классическим текстом, написанным микроскопическими буквами. Я спросил, что там написано. Он ответил: "Когда приедете домой, спросите профессора Джайлза". В Англии я выяснил, что то были "Наставления мудреца" с рекомендацией всегда делать что хочется. Таким образом мой приятель подшутил надо мной, имея в виду мой отказ давать советы китайцам в актуальных политических делах.

Зимой в Пекине очень холодно. Почти всегда дует северный ветер, несущий ледяное дыхание горной Монголии. Я заболел бронхитом, но не обратил на это внимания. Мне показалось, что я почти выздоровел, и по приглашению китайских друзей мы поехали в некую местность, находившуюся в двух часах езды на автомобиле от Пекина, там били горячие ключи. В отеле подавали изумительный чай, но кто-то сказал, что не стоит пить его слишком много, чтобы не испортить аппетит перед обедом. Я возразил, что не стоит загадывать. И оказался прав, потому что в следующий раз мне довелось с удовольствием поесть только через три месяца. После чая меня стала трясти лихорадка, и через час или около того решено было возвращаться в Пекин. На обратном пути у нас прокололась шина, а когда ее починили, остыл двигатель. Я к тому времени уже едва сознавал происходящее, а Дора и слуги-китайцы втолкнули автомобиль на холм, и на спуске мотор заработал. Мы подъехали к городу поздно, и ворота оказались заперты, пришлось целый час звонить по разным телефонам, чтобы нам открыли. Когда мы наконец добрались до дома, я уже был без сознания. Меня поместили в немецкий госпиталь, и там Дора ухаживала за мною днем, а единственная на весь Пекин профессиональная английская сиделка — ночью. Две недели доктора ежевечерне предсказывали, что до утра я не доживу. Я ничего не помню из того времени, только некоторые сны. Придя в себя, я не мог уразуметь, где нахожусь, и не узнал сиделку. Дора объяснила, что я был опасен болен и чуть не умер, на что я ответил: "Как

интересно", но был еще очень слаб и через пять минут все забыл, и ей пришлось объяснять снова. Я не помнил даже своего имени. Хотя целый месяц после того, как я пришел в сознание, мне продолжали твердить, что я могу умереть в любую минуту, я в это не верил. За мной ухаживала очень квалифицированная сиделка, она работала сестрой милосердия в сербском госпитале во время войны; госпиталь заняли немцы, и всех сестер выслали в Болгарию. Она без усталости рассказывала мне, как сблизилась с королевой Болгарии. Сиделка была глубоко верующей и, когда мне полегало, говорила, что всерьез задумывалась, не следовало ли ей позволить мне отойти в мир иной. К счастью, профессиональная выучка оказалась сильнее религиозно-нравственных соображений.

В период выздоровления, несмотря на слабость и физический дискомфорт, я чувствовал себя очень счастливым. Преданность Доры заставила меня забыть обо всех неприятностях. Как раз когда я пошел на поправку, Дора обнаружила, что беременна, и это стало причиной нашего обоюдного счастья. С тех самых пор, как я гулял по Ричмонд-Грин с Элис, все сильнее и сильнее становилось мое желание иметь детей, которое превратилось во всепоглощающую страсть. Когда выяснилось, что я не только выживу сам, но и буду иметь ребенка, мне стали совершенно безразличны все обстоятельства моей болезни, хотя она сопровождалась массой мелких недугов. Главным заболеванием была двусторонняя пневмония, а кроме того, у меня болело сердце, почки, я заработал дизентерию и тромбоз. Однако ничто не мешало моему счастью, и вопреки всем мрачным прогнозам болезнь не оставила никаких последствий.

Лежать в постели и знать, что тебе ничего не грозит, было удивительно приятно. До той поры я считал себя неисправимым пессимистом и не очень-то ценил жизнь. Теперь я понял, что ошибался, и жизнь стала казаться мне бесконечно прекрасной. Дождь в Пекине идет редко, но во время моего выздоровления прошли обильные ливни, и из окон тянуло сладким запахом влажной земли. Я думал, как было бы ужасно никогда больше не ощутить этот запах. То же самое относится к солнечному свету и шуму ветра. Под моими окнами росли прелестные акации, и как раз когда я уже мог любоваться ими, они зацвели. Тогда я понял, до чего радостно жить на свете. Большинство людей, наверное, всегда живут с этим чувством, но мне оно было недоступно.

Мне сказали, что китайцы собирались похоронить меня у Западного озера и воздвигнуть усыпальницу. У меня даже возникло легкое сожаление, что этого не случилось, ибо я мог бы превратиться в божество — для атеиста это особая удача.

В Пекине располагалась советская дипломатическая миссия, где работали очень любезные люди. У них был запас шампанского, лучшего во всем городе, и они бесплатно снабжали меня этим единственным напитком, подходящим для больных воспалением легких. Советские дипломаты брали сперва Дору, а потом нас обоих в автомобильные поездки по окрестностям Пекина. Это доставляло нам массу удовольствия, но немало и волнений, потому что русские столь же отчаянно ведут себя за рулем, как и во время революции.

Я, наверно, обязан жизнью Рокфеллеровскому институту в Пекине, который снабдил меня серой, убивающей пневмококки. Моя благодарность тем более искренна, что и до и после этих событий я был их политическим противником и, видимо, внушал им не меньший ужас, чем моей сиделке.

Доре не давали покоя японские журналисты, желавшие взять у нее интервью, в то время как она всей душой рвалась ко мне. Не выдержав, она бросила им наконец что-то резкое, и они напечатали в газетах, будто я умер. Новость мгновенно разошлась по свету — из Японии в Америку, из Америки в Англию. В английской печати она появилась в тот же день, что и извещение о моем разводе. К счастью, Верховный суд не принял ее всерьез, иначе развод был бы отложен. Я не без удовольствия читал собственные некрологи, в которых было написано именно то, чего бы мне хотелось, никак не ожидая, что мне доведется прочесть все это собственными глазами. Помнится, в одной миссионерской газете было сказано буквально следующее: "Да простится миссионерам вздох облегчения, который они издали, узнав о кончине мистера Бертрана Рассела". Боюсь, они издали вздох совсем другого рода, обнаружив, что я жив. Моих друзей в Англии известие о моей смерти опечалило. А мы в Пекине ни о чем не подозревали, пока не получили телеграмму от моего брата с просьбой разъяснить, жив я все-таки или нет. В телеграмме говорилось, что умереть в Пекине — это на меня не похоже.

Мое выздоровление задержалось из-за тромбоза, который на полтора месяца приковал меня к постели. Все это время мне пришлось неподвижно лежать на спине. Нам не терпелось вернуться домой, и уже начинало казаться, что этого никогда не будет. Трудно сохранять терпение, когда доктора только и твердят, что не остается ничего другого, кроме как ждать. И когда терпение подходило к концу, мы наконец смогли покинуть Пекин, хотя я был еще очень слаб и передвигался с помощью палочки. Это произошло 10 июля.

Вскоре после нашего возвращения из Китая британское правительство решило покончить с проблемами, связанными с последствиями боксерского восстания. После подавления восстания соответствующий договор предусматривал выплату китайским правительством ежегодной репарации всем европейским странам, которым был нанесен ущерб. Предусмотрительные американцы подготовились к этому вопросу с особым тщанием. Друзья Китая советовали и Британии сделать то же самое, но напрасно. Наконец было решено, что вместо репарационных выплат китайцы заплатят определенную взаимосогласованную сумму. Форму, в какой должна была осуществляться эта выплата, оставили на усмотрение комиссии, в которой участвовали два представителя китайской стороны. Когда премьер-министром был Макдональд, он пригласил в эту комиссию Лоуэса Дикинсона и меня и получил на то согласие В. К. Дина и Ху Ши, наших китайских партнеров. Однако вскоре кабинет Макдональда пал, а преемник — консервативное правительство — информировало нас с Дикинсоном, что комиссия в наших услугах не нуждается, так же как и в услугах В. К. Дина и Ху Ши, — на том основании, что мы якобы понятия не имеем о Китае. Китайское правительство ответило, что желает видеть в составе комиссии указанных китайцев, которых рекомендовал я, и никого иного. Это положило конец слабым попыткам сохранить дружественные отношения с Китаем. Единственное, что удалось обеспечить в период лейбористского правления, запретить торговлю на территории Шаньдуна и не допустить превращения его в площадку для гольфа британских морских сил.

[Япония]

До болезни я дал согласие отправиться из Китая в лекционное турне по Японии, которое пришлось сократить до одного выступления и нескольких визитов. В Японии мы провели двенадцать лихорадочных дней — нельзя сказать, чтобы приятных, но несомненно интересных. В отличие от китайцев японцы не могли похвастать изяществом манер и проявили изрядную назойливость. Поскольку я был еще довольно плох, мы старались избегать лишнего напряжения, но не тут-то было. В первом же порту, в котором остановился наш пароход, залегли в засаде человек тридцать репортеров, хотя мы сделали все возможное, чтобы сохранить наш маршрут в тайне. Они выяснили подробности через полицию. Японские газеты не поместили опровержение по поводу сообщения о моей смерти, и Дора вручила каждому из них машинописную копию моего некролога, сказав, что коли я мертв, то и ни о каком интервью речи быть не может. Они присвистнули и отреагировали: "Оченна забавна!"

Первым делом мы отправились в Кобе к Роберту Янгу, редактору "Джапэн кроникл". Причаливая к пристани, мы увидели процессию с

флагами, и, как нам объяснили: японский язык, на флагах были начертаны приветственные слова, адресованные мне. Оказалось, что в доках идет масштабная забастовка, а полиция не разрешила никаких демонстраций, за исключением приветственных, в честь знатных иностранцев. Таким образом, забастовщики воспользовались мной как щитом для своего выступления. Руководил ими христианский пацифист Кагава, который привел меня на митинг забастовщиков, где я выступил с речью. Роберт Янг — человек замечательный; он покинул Англию в 80-е годы и не был свидетелем разрушения своих идей. В его кабинете висел большой портрет Брэдлоу*, чьим почитателем он был. Газета, где он работал редактором, кажется мне лучшей из всех, что я знаю, а начал он ее с десятию фунтами капитала, которые скопил из своего жалованья наборщика. Янг повез меня в Нару, изысканно прекрасное место, где можно еще увидеть старую Японию. Потом мы попали в руки редакторов современного журнала "Кайдзо", которые показали нам Киото и Токио, на каждом шагу предусмотрительно сообщая репортерам, куда мы движемся, так что те следовали за нами по пятам и фотографировали, даже когда мы спали. В обоих городах на встречу с нами они приглашали огромное количество профессоров. В обоих городах нас ни на минуту не вытекали из поля зрения шпионы, приставленные полицией. В гостиницах соседний номер всегда занимала полицейская бригада, оснащенная пишущей машинкой. Официанты относились к нам так, будто мы члены королевской семьи, и выходили из комнаты, пятась задом. Едва мы произнесли нечто вроде "Черт бы побрал этого официанта", как за стеной начинала стрекотать машинка. На профессорских вечеринках в нашу честь, едва я вступал с кем-нибудь в интересующий меня разговор, как незамедлительно просверкивала фотовспышка и беседа, естественно, замирала.

(* Чарльз Брэдлоу (1833—1891) — английский социальный реформатор, защитник прав женщин и тред-юнионизма.)

К женщинам японцы относятся самым первобытным образом. В Киото нам достались дырявые противомоскитные сетки над кроватями, так что мы полночи не спали. Наутро я пожаловался, и к вечеру мою сетку починили, а у Доры все осталось как было. Я снова пожаловался, на что мне ответили: "А мы не знали, что для леди это имеет значение". Однажды, когда мы ехали в пригородном поезде с историком Эйлин Пауэр, тоже путешествовавшей по Японии, в вагоне не оказалось свободных мест, и какой-то японец вскочил, уступая мне свое место. Я посадил Дору. Тогда другой японец предложил мне свое место. Я уступил его Эйлин Пауэр. Тут уж японцы так возмутились моим немужским поведением, что дело чуть не дошло до рукоприкладства.

Из японцев нам по-настоящему полюбили только один человек — некая мисс Ито. Эта молодая красивая женщина жила с известным анархистом, от которого у нее был сын. Дора сказала ей: "А вы не боитесь властей?" Та провела ладонью по горлу и ответила: "Я знаю, что рано или поздно они это сделают". Во время землетрясения полицейские пришли в дом, где она жила вместе с анархистом, и увели его, ее самое и ее племянника, которого приняли за сына, в участок. Там их поместили в разные камеры и задушили, похваставшись, что легче всего было прикончить ребенка, с которым они подружились по дороге. Эти полицейские стали национальными героями, и школьников обязывали писать о них сочинения.

Из Киото до Июкогамы мы ехали десять часов в страшной духоте. Приехали уже в темноте, и нас встретили вспышки магния; Дора испугалась, и я боялся, не произойдет ли у нее выкидыш. Впервые после того случая, когда я чуть не задушил Фицджеральда, меня ослепила ярость. Я бросился на парней со вспышками, но, на счастье, из-за хромоты не смог догнать, иначе смертоубийство было бы неизбежно. одному из фоторепортеров удалось снять меня с горящими ненавистью глазами. Я и вообразить не мог, что могу выглядеть таким безумцем. Эта фотография стала моей визитной карточкой в Токио. Подобные чувства, должно быть, испытывали англо-индийцы во время мятежа или белые, окруженные взбунтовавшимися туземцами. Я тогда понял, что стремление защитить свою семью от людей чужой расы, вероятно, самая могучая страсть, свойственная человеку. Последним моим впечатлением, вынесенным из Японии, стала публикация в одном патриотическом издании моего якобы прощального послания японскому народу, где я побуждал его к шовинизму. Ни этого, ни какого другого послания ни в одну газету я не направлял.

Мы отплыли из Июкогамы пароходом компании "Кэнэдиен пасифик". Нас провожали анархист Одзуки и мисс Ито. (...)

Второй брак

(...) Когда в ноябре 1921 года появился на свет мой первенец, я почувствовал огромное облегчение, и на целых десять лет главными моими заботами стали отцовские. Родительское чувство, насколько я могу судить по своему опыту, очень сложно. Его сердцевина — это животная любовь и наслаждение, которое доставляет очарование детства и юности. Еще это чувство всегдашней ответственности, которая придает труднообъяснимый смысл ежедневному труду. Еще здесь присутствует толика эгоизма: тут и упование на то, что дети преуспеют там, где ты недотянул, что они продолжат твоё дело, когда смерть или старческая немощь положат конец твоим попыткам преуспеть, и, наконец, что благодаря им ты преодолеешь биологическую смерть и твоя жизнь сольется в общий поток, а не застоится затхлым одиноким озерцом где-то на отшибе. Все это я пережил, и в течение нескольких лет это наполняло мою жизнь счастьем и покоем.

(...)

В этих обстоятельствах я естественным образом заинтересовался проблемами воспитания. Я уже вкратце коснулся этого предмета в "Принципах социальной реконструкции", но теперь ой всерьез завладел моими мыслями. Я написал книгу "О воспитании, особенно в раннем возрасте", которая была опубликована в 1926 году и разошлась с большим успехом. Теперь мне кажется, что я тогда слишком оптимистично оценивал детскую психологию, но общий подход к воспитанию и его приоритетам у меня не изменился, разве что предлагавшиеся для раннего возраста методы были, пожалуй, излишне суровыми. <...>

В 1927 году мы с Дорой пришли к ответственному решению открыть собственную школу, чтобы наши дети получили то образование, которое представлялось нам оптимальным. Мы были убеждены — возможно ошибочно, — что дети должны воспитываться в кругу сверстников, и не хотели больше лишать наших ребятишек общества других детей. Ни одна из известных школ нас не удовлетворяла. Мне и Доре требовалось необычное сочетание условий. С одной стороны, нам не нравились чопорность и религиозная направленность, множество ограничений, которые воспринимаются как должное в обычных школах. С другой — нам никак не импонировали современные "эксперименты" в области образования: полная свобода от всяческой дисциплины и отрицание методического обучения. Итак, мы решились набрать группу — человек двадцать — примерно одного возраста с Джоном и Кейт, чтобы обучать их на протяжении

всех школьных лет.

Для школы мы арендовали дом моего брата в Саутдаунсе, между Чичестером и Петерсфилдом. Он назывался "Телеграфным домом". Во времена Георга III в этом здании находился семафор для передачи сообщений на расстоянии, один из тех, что установили между Портсмутом и Лондоном. Может быть, именно через него прошла весть о Трафальгарской битве.

(...)

Вот в этом-то доме, полном воспоминаний, и устроили школу. Управляя школой, мы столкнулись с массой трудностей, которые нам следовало предвидеть. Прежде всего, конечно, финансовых. Скоро стало очевидно, что заведение будет явно убыточным. Избежать этого можно было, лишь увеличив набор и ухудшив питание, то есть приблизив школу к общим стандартам, что шло наперекор нашим замыслам. К счастью, как раз в это время я стал довольно много зарабатывать книгами и получать деньги за лекции в Америке. Таких лекционных туров было всего четыре — я уже упоминал о первом, в 1924 году, потом я повторил их в 1927, 1929 и 1931-м. Лекции 1927 года пришлось на начальный семестр в нашей школе, так что я не принял в нем участия. Во время второго семестра на лекции в Америку уехала Дора. Таким образом, на протяжении двух первых семестров мы поочередно брали в свои руки бразды правления. Однако если я не уезжал в Америку, то писал книги ради заработка. Так что целиком отдаться делу образования у меня не получалось.

Вторая трудность заключалась в том, что преподавательский состав, как бы тщательно мы ни инструктировали его относительно наших задач, справлялся с ними только под нашим руководством.

Третьей заботой, и, наверное, самой серьезной, была непропорционально большая доля трудных детей. Эту опасность следовало, конечно, предвидеть, но мы на первых порах были рады любому ребенку. Родители, желавшие опробовать новые методы, как правило, уже порядком нахлебались со своими детками. Чаще всего винить в этом надо было самих родителей, в чем мы убеждались каждый раз, когда ученики возвращались с каникул. Так или иначе, многие дети были жестоки и склонны к разрушению. Предоставить их самим себе значило установить царство террора, где сильный будет держать слабого в страхе и трепете. Школа — модель мира; только ответственное правление может предотвратить разгул насилия. Так что я чувствовал себя обязанным все свободное от уроков время присматривать за учениками, чтобы не допустить проявлений жестокости. Мы разделили детей на три группы — больших, средних и маленьких. Один мальчик из средней группы постоянно третировал малышей, и я спросил почему. Ответ был таков: "Меня большие бьют, а я бью маленьких; все по справедливости". Он и впрямь так думал.

Иногда мы были свидетелями того, как выходили наружу самые дикие импульсы. Среди учеников у нас были брат и сестра, мать которых отличалась чрезвычайной чувствительностью. Она требовала от них невероятных проявлений нежности друг к другу. Как-то раз учительница, дежурившая в столовой, перед раздачей обнаружила в супе половинку шпильки. В результате расследования выяснилось, что бросила ее туда нежная сестричка. "Ты что же, не знаешь, что, если бы эта шпилька попала в твою тарелку, ты бы умерла?" — спросили ее. "Знаю, — ответила она. — Но я супа не ем". Оказалось, она надеялась, что жертвой будет ее братец. В другой раз, когда одному мальчику, не пользовавшемуся любовью товарищей, подарили пару кроликов, двое других попытались их зажарить живьем, развели огонь, который стал пожирать акр за акром и, если бы не переменился ветер, спалил бы дом дотла.

Для нас и наших детей со школой были связаны особые трудности. Школьники считали, что наш сын пользуется неоправданными привилегиями, хотя мы изо всех сил старались держать по отношению к нему и дочери дистанцию, делая исключение только на время каникул. Они, бедняжки, чувствовали себя меж двух огней: либо их будут считать ябедами, либо им придется обманывать родителей. Счастливая гармония, существовавшая в наших отношениях, пошла прахом, вместо нее появились неловкость и смущение. Наверное, нечто подобное всегда происходит в школах, где дети и родители оказываются вместе.

Оглядываясь назад, я понимаю, какие серьезные ошибки допустили мы в организации школы. Во-первых, дети в группе не могут нормально жить без строгого порядка и дисциплины. Бесконтрольный досуг быстро им наскучивает, легкие шалости перерастают в разрушительное буйство. Всегда рядом должен быть взрослый, готовый предложить интересную игру или занятие, то есть взять на себя инициативу, которой трудно ожидать от маленьких детей.

Во-вторых, у нас было гораздо меньше свободы, чем хотелось бы. Например, ее было очень мало в том, что касалось здоровья и гигиены. Детям полагалось умываться, чистить зубы и ложиться спать в определенное время. Нам, конечно, и в голову не приходило, что здесь допустимы послабления, но недалекие люди, особенно журналисты, искавшие сенсации, обвиняли нас в том, что мы выступаем за отмену каких бы то ни было принуждений и ограничений. Старшие дети, когда им напоминали о чистке зубов, недовольно огрызались: "И это называется свободная школа!" Те, кто слышали, как родители дома рассуждают о царящей в нашей школе свободе, старались опытным путем определить ее границы, внутри которых можно безобразничать, не опасаясь наказания. Поскольку мы пресекали только очень серьезные нарушения порядка, то эти опыты доставляли нам много неприятностей.

В 1929 году я опубликовал книгу "Брак и мораль", которую диктовал, выздоравливая после коклюша. (Из-за возраста эту болезнь распознали только тогда, когда я успел заразить чуть ли не всю школу.) Именно эта книга спровоцировала атаку, которой я подвергся в 1940 году в Нью-Йорке. В ней я развивал мысль о том, что нынче нельзя ожидать абсолютной верности от большинства брачных союзов, но муж и жена должны уметь оставаться друзьями, несмотря на побочные романы. Я, однако, не утверждал, что брак следует сохранять, если жена родила ребенка или нескольких детей не от своего благоверного; на мой взгляд, в этом случае предпочтительней развод. Не могу сказать, что я теперь думаю о супружестве. На каждую обобщающую концепцию можно найти убийственный контраргумент. Возможно, легкость разводов приносит меньше несчастий, чем запрет на них, но я уже не держусь за свои взгляды в этой области.

В следующем, 1930 году я опубликовал "Завоевание счастья", книгу, в которой содержались здравые советы, как преодолевать личные временные несчастья, не ожидая улучшения общественной и экономической систем. Эта книга была по-разному встречена тремя различными слоями читателей. Читатели неискушенные, которым она и предназначалась, ее полюбили, так что книга очень хорошо продавалась. Высоколобые, напротив, сочли ее эскапистским трюком, клапаном для выпуска пара, вредным сочинением, отвлекающим от политики и убеждающим читателей в существовании каких-то полезных дел, далеких от нее. Книгу высоко оценил еще один слой читателей — профессиональные психиатры. Не мне судить, кто прав; я сделал свое дело — написал книгу тогда, когда мне особенно нужно было самообладание, когда многому научился на своем скором горьком, чем счастливым опыте. <...>

(...)

Когда я покинул Дору, она продолжала вести нашу школу до самого конца второй мировой войны, хотя после 1934 года школа размещалась уже не в "Телеграфном доме". Джона и Кейт отправили в дарлингтонскую школу, где им очень нравилось.

Одно лето я провел в Хендее, а следующее — частично в доме Джеральда Бренана недалеко от Малаги. Раньше я не встречался с Бренанами и рад был познакомиться с такими интересными и приятными людьми. Гэмел Бренан оказалась ученой дамой с огромной эрудицией и широкими интересами, в чьей голове умещались обрывки знаний из самых неожиданных областей, она воспевала непознанное и сочиняла умные стихи. Наша дружба сохранилась, и она иногда приезжает нас навестить — милая осенняя гостья.

Лето 1932 года я провел в Карн-Веле, в доме, который потом отдал Доре. Там я написал "Воспитание и общественный порядок" и, освободившись от обременительной заботы содержать школу, покончил с бестселлерами. Потерпев фиаско в роли родителя, я почувствовал, как во мне оживают серьезные писательские амбиции.

В 1931 году, во время лекционного турне по Америке, я заключил договор с издателем У. У. Нортон на книгу, которая вышла в свет в 1934-м под названием "Свобода и организация". Я работал над ней вместе с Патрицией Спенс, известной как Питер Спенс, сначала в квартире у Императорских ворот (Кейт и Джон расстроились, не увидев там ни императора, ни ворот), а потом в замке Дейдрет (в Северном Уэльсе), который был частью отеля "Портмейрион". Работал я с удовольствием, и жизнь в отеле была очень удобной. Владельцами отеля были мои друзья — архитектор Клауф Уильямс-Эллис и его жена Амабел, писательница, чье общество доставляло мне большое удовольствие.

Когда работа над книгой закончилась, я решил вернуться в "Телеграфный дом" и сказать Доре, что ей следует куда-нибудь переселиться. Причина была в деньгах. Я должен был ежегодно платить 400 фунтов арендной платы за дом и алименты бывшей жене покойного брата. Кроме того, надо было платить алименты Доре и покрывать расходы Кейт и Джона. Между тем мои доходы катастрофически уменьшались, отчасти из-за депрессии, во время которой книги раскупались значительно хуже, отчасти из-за того, что я перестал писать популярные книги, отчасти также из-за того, что в 1931 году я отказался гостить в замке Херста в Калифорнии. Ежедневные статьи в херстовских газетах приносили мне тысячу долларов в год, но после моего демарша гонорары сократились вдвое, а вскоре мне сообщили, что от моих услуг отказываются. "Телеграфный дом" был огромен, и подъехать к нему можно было только двумя частными дорогами, каждая примерно с милю длиной. Мне хотелось его продать, но я не мог выставить его на продажу, пока там располагалась школа. Оставалось одно — жить в нем и постараться сделать привлекательным для возможных покупателей.

Обосновавшись снова в "Телеграфном доме" (уже без школы), я отправился на отдых на Канарские острова. Вернувшись, я обнаружил, что, несмотря на ясность ума и доброе здоровье, начисто лишился творческого импульса и не знаю, за что взяться. Месяца два — исключительно чтобы не сидеть сложа руки — я посвятил проблеме двадцати семи прямых на поверхности куба. Кончились эти занятия ничем, проку от них не было никакого, и я продолжал проживать капитал, оставшийся от периода удач, который завершился в 1932 году. Я решил написать и книгу об угрозе войны, которая с каждым днем ощущалась все яснее. Книгу я озаглавил "Какая дорога ведет к миру?" и выразил в ней пацифистские взгляды, которые сложились у меня во время первой мировой. Правда, за одним исключением: я утверждал, что, если когда-либо будет создан всемирный парламент, его следует охранять от поползновений мятежников. Что же касается войны, угрожавшей нам в недалеком будущем, я по-прежнему отстаивал свободу совести.

Впрочем, то была уже не вполне искренняя позиция. Хотя и неохотно, я допускал возможность владычества кайзеровской Германии; мне казалось, что это, конечно, зло, но все же меньшее, чем мировая война и ее последствия, тогда как гитлеровская Германия — совсем другое дело. Нацисты были мне отвратительны и с моральной, и с рациональной точки зрения — жестокие, фанатичные и тупые. Хотя я и придерживался пацифистских убеждений, но это давалось мне все с большим трудом. Когда в 1940 году Англия угрожала опасность оккупации, я понял, что на протяжении всей первой мировой ни разу всерьез не допускал мысли о поражении. Мысль о нем была невыносима, и после серьезных размышлений я решил, что должен выступать в поддержку всего, что делается ради победы, как бы тяжело ни далась эта победа и каковы бы ни были ее последствия.

Таков был последний этап в долгом процессе отказа от тех убеждений, которые созрели у меня в 1901 году. Я никогда не был абсолютным приверженцем доктрины непротивления. Я всегда признавал необходимость существования полиции и закона и даже во время первой мировой публично заявлял о том, что некоторые войны оправданны. Но слишком сосредоточился на методах непротивления, точнее, ненасильственного непротивления, в большей мере, чем позволяли реальные условия. Можно привести удачные примеры непротивления, например триумф Ганди в Индии, возглавившего национальное движение против британского господства. Но оно всегда предполагает наличие определенного благородства тех, против кого используются эти методы борьбы. Когда индусы ложились на рельсы, британцы не могли допустить, чтобы они погибали под колесами. Но нацисты в подобной ситуации не колеблясь повели бы себя совсем по-другому. Учение Толстого о непротивлении злу насилием, обладавшее в свое время огромной убедительной силой, никак не применимо было к Германии после 1933 года. Ясное дело, Толстой был прав в отношении властей предрержащих, не переступавших определенного порога жестокости, но нацисты этот порог переступили.

На перемену моих убеждений повлияло не только положение в мире, но и мой личный опыт. Работа в школе показала, что для того, чтобы защитить слабых от угнетения, нужна крепкая и твердая рука. Случаи вроде истории со шпилькой в супе нельзя оставлять безнаказанными, уповав на постепенное облагораживающее воздействие среды; тут нужно принимать немедленные и действенные меры. Во втором браке я, в соответствии со своими взглядами, пытался сохранить уважение к свободе жены. Однако понял, что моя способность прощать и то, что называется христианской любовью, не встречают ожидаемого ответа, и бессмысленное упорство в следовании этим принципам не принесет добра другим, а мне принесет одни лишь беды. Все это можно было предсказать заранее, но я был ослеплен теорией.

Не хочу преувеличивать. Перемена взглядов, происходившая с 1932 по 1940 год, не была революционной. То было количественное накопление и смещение акцентов. Никогда не разделяя полностью учения о непротивлении, я и не отвергал его. Но различие между оппозицией первой мировой войне и поддержкой второй было слишком велико, и смена концепций была неизбежна.

С тем, что осознал мой разум, чувства соглашались неохотно. Все мое естество противилось войне, а мое второе "я" говорило в ее пользу. Начиная с 1940 года я уже никогда не мог восстановить равновесие разума и чувства, которое было мне свойственно с 1914 по 1918 год. Полагаю, что единство ума и чувства достигалось больше за счет веры, нежели научной обоснованности моей тогдашней позиции. Следовать научному знанию, куда бы оно меня ни завело, всегда было моим главным моральным императивом, и я не изменил ему даже тогда, когда утратил дар, который принимал за духовное прозрение.

Полтора года мы с Патрицией Спенс, в которую я был тогда влюблен, работали над книгой "Записки Эмберли" — мемуарами о моих родителях, так мало проживших на свете. Для меня это была своего рода башня из слоновой кости. Мои родители не успели столкнуться с современными проблемами и до конца жизни верили, что мир идет в направлении добра. Отвергаемые ими дворянские привилегии тем не менее сохранялись, и родители, пусть неохотно, ими пользовались. Они жили в уютном, просторном мире, преисполненном надежд. Погрузиться в него было спасением для меня, а создание им памятника тешило мои сыновние чувства. Тем не менее я был бы неискренен, если бы сказал, что считал это действительно важным делом. Период творческого бесплодия закончился, пора было заняться чем-то не столь далеким от моих обычных интересов.

Следующий мой труд — "Власть. Новый социальный анализ". В этой книге я писал, что даже в социалистическом государстве должна существовать область свободы, но эту область следует заново определить, и отнюдь не в либеральных терминах. Этой доктрины я придерживаюсь до сих пор. Этот тезис казался мне очень существенным, и я надеялся, что он привлечет больше внимания, чем это случилось. Книга задумывалась как опровержение и Маркса, и классической политэкономии, причем именно их фундаментальной основы. Я утверждал, что базовой категорией социальной теории должен стать не капитал, но власть, а социальная справедливость должна состоять в максимальном приспособлении власти к практической деятельности. Отсюда следовало, что государственная собственность на землю и капитал не будут двигать прогресс, пока государство не станет демократическим, причем при обязательном условии, что власть чиновников будет эффективно регулироваться. Мой тезис отчасти был использован и развит Бурнемом в его "Революции управления", но в целом книга не вызвала заметного резонанса. Мне же и теперь кажется, что в ней содержатся очень важные вещи, которые помогли бы избежать зла тоталитаризма, особенно при социалистических режимах.

Часть третья. Последние годы 1944—1969

Возвращение в Англию

(...)

В 40-е и в начале 50-х годов меня очень волновали проблемы, связанные с ядерным оружием. Мне было очевидно, что ядерная война положит конец цивилизации. Ясно было и то, что, если в политике как Востока, так и Запада не произойдут перемены, рано или поздно ядерная война будет развязана. Эти страхи сидели у меня в голове с начала 20-х. Но тогда, несмотря на то, что некоторые физики чувствовали приближающуюся угрозу, большинство людей, причем не только простых людей с улицы, но и ученых, не хотели о ней думать, успокаивая себя тем, что, мол, до такой глупости человечество не дойдет. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году впервые привлекли внимание ученых, а также некоторых политиков к проблеме атомной войны. Спустя несколько месяцев после бомбардировки этих японских городов я выступил с речью в палате лордов, указав на реальную угрозу ядерной войны и ее последствий для всего мира. Я предсказал производство более мощных ядерных боеголовок, чем те, что были использованы при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Пока еще не началась гонка вооружений, которой я так опасался, можно было установить контроль над этим монстром и использовать его в мирных целях. Мне аплодировали, никто из членов палаты не назвал мои страхи преувеличенными, но все они единодушно признали, что это проблема, которую придется решать их внукам. Сотни тысяч погибших в Японии не убедили их в том, что Британия избежала подобной участи лишь по счастливой случайности и что в следующей войне ей вряд ли так повезет. Никто не видел в этом всеобщей угрозы, которую можно было бы предотвратить за счет договоренности великих держав. <...> Тогда я верил, что планировать действия и действовать, чтобы остановить приближающуюся опасность, необходимо сразу, едва она замаячит на горизонте, и еще больше я верю в это теперь. <...>

Когда решался берлинский вопрос, правительство направило меня в Берлин, чтобы убедить жителей города оказать сопротивление русским, пытавшимся вытеснить оттуда союзников. Это был первый и последний случай в моей жизни, когда я изображал из себя военного. Меня включили в состав вооруженных сил и выдали мне военный билет, что меня весьма позабавило.

Я много выступал в разных службах Би-би-си; в частности, меня попросили выступить по случаю смерти Сталина. Я с радостью отозвался на это предложение, потому что считал Сталина страшнейшим злодеем, главным виновником нищеты и инициатором террора в России, которая теперь всем этим угрожала миру. Я заклеил тирана в своей речи и поздравил всех с его уходом со сцены. Я говорил, забыв обо всякой осмотрительности, о всех приличиях. Эта передача так и не вышла в эфир.

После Германии правительство направило меня в Норвегию — убеждать норвежцев присоединиться к союзу против России. Место моего назначения называлось Тронхейм. Погода была холодная, штормовая. Из Осло в Тронхейм надо было лететь на гидроплане. Когда гидроплан сел на воду, мы почувствовали неладное. Он стал медленно погружаться в пучину. Нам велели прыгать в море и плыть к лодке, все пассажиры моего отсека так и сделали. Потом мы узнали, что девятнадцать пассажиров из салона для некурящих погибли. Едва коснувшись воды, гидроплан получил пробоину, куда хлынула вода. Я попросил приятеля, который провожал меня в Осло, подсказать, где можно курить в самолете, и шутливо заметил: "Если нельзя будет курить, я помру". Шутка оказалась вещей. Пассажиры салона для курящих выбрались через аварийный выход, возле которого находилось мое место. Мы доплыли до лодок, державшихся в отдалении, иначе их могло затянуть в воронку от тонувшего гидроплана. Нас доставили на берег в нескольких милях от Тронхейма и отвезли на машине в отель.

Меня встретили очень сердечно и уложили в постель, пока сохла одежда. Студенты даже сушили мои спички поштучно. На вопрос, чего бы мне хотелось, я ответил: "Хорошую порцию бренди и большую чашку кофе". Появившийся вскоре доктор подтвердил правильность ответа. Было воскресенье, в этот день в Норвегии запрещается подавать в отелях спиртное, о чем я тогда не знал, но поскольку выпивка требовалась по медицинским показаниям, возражений не последовало. Забавную нотку внес в ситуацию священник, снабдивший меня на время сушки одежды церковным облачением. Меня засыпали вопросами. Один вопрос прозвучал по телефону из Копенгагена: "Находясь в воде, размышляли ли вы о мистицизме и логике?" — "Нет", — ответил я. "А о чем же вы размышляли?" — настаивал звонивший. "О том, что вода холодновата", — ответил я и повесил трубку.

Лекцию мою отменили, поскольку руководитель агитационной кампании утонул.

Я был поражен суетой, которая поднялась вокруг меня в связи с этим происшествием. Мою роль сильно преувеличивали. Я проплыл примерно сотню ярдов, но все были убеждены, что несколько миль. Правда, я плыл в пальто, потерял шляпу и портфель. В тот же день мне его возвратили — я пользуюсь им по сей день, — причем его содержимое было высушено. Когда я вернулся в Лондон, чиновники с улыбкой смотрели на мой паспорт, носивший на себе следы пребывания в морской воде. Он лежал в портфеле.

Прибыв в 1944 году в Англию, я обнаружил, что отношение ко мне переменилось. Я снова наслаждался свободой дискуссий, невозможной в Америке. Там, если нас останавливал полицейский, мой сын ударялся в слезы; примерно так же реагировали университетские профессора, когда полицейские их обвиняли в превышении скорости. Англичане, которые никогда и ни в чем не бывают фанатичны, излечили и меня от фанатизма; я наслаждался, чувствуя себя дома. Это чувство еще более окрепло в конце 40-х, когда меня пригласили на Би-би-си прочесть курс лекций — раньше ко мне относились как к вредителю, которого нельзя подпускать к молодежи. Атмосфера свободной дискуссии повлияла на выбор темы курса, которую я обозначил так: "Власть и личность". Под этим названием мои лекции были опубликованы в 1949 году; речь шла главным образом о сужении зоны индивидуальной свободы в условиях индустриализации. Несмотря на признание подобной опасности, и тогда, и позже очень мало было сделано, чтобы нейтрализовать зло.

За несколько лет до того, как я прочел этот курс, мой старый друг профессор Уайтхед получил орден "За заслуги". В начале 50-х я приобрел столь великий вес в глазах общественности, что меня тоже представили к такой награде. Я был счастлив. Несмотря на то, что многие мои соотечественники, несомненно, чрезвычайно удивятся, услышав это, признаюсь, я страстный патриот и высоко ценю честь, оказанную мне главой моей страны. Для вручения награды надо было прибыть в Букингемский дворец. Король был очень любезен, но явно испытывал неловкость от того, что должен был оказывать милости такой сомнительной личности с тюремным прошлым. Он заметил: "Вы не всегда вели себя как принято". Я рад, что сдержался и не выпалил то, что просилось на язык: "Как и ваш брат". Но поскольку он имел в виду свободу совести, я не мог оставить его реплику без ответа. Я сказал: "Человек должен вести себя сообразно своей профессии. Почтальону, например, приходится стучать во все двери подряд, но если бы стучать во все двери принялся кто-нибудь другой, его сочли бы возмутителем общественного спокойствия". Чтобы избежать неприятного ответа, король резко сменил тему и спросил, знаю ли я единственного человека, являющегося кавалером ордена Подвязки и одновременно ордена "За заслуги". Я не знал, и он милостиво сообщил, что это лорд Портал. Я не стал говорить, что это мой кузен. <...>

Когда в конце 1950 года меня пригласили в Стокгольм для вручения Нобелевской премии — к моему удивлению, по литературе, за книгу "Брак и нравственность", — я поехал туда с опаской, потому что, сколько мне помнилось, как раз триста лет назад Декарт по приглашению королевы Христины приехал в Скандинавию тоже зимой и умер от простуды. Мы, однако, жили в тепле и уюте, а вместо снега шел дождь, и это даже слегка разочаровывало. Церемония была хотя и пышная, но приятная, и мне она понравилась. За обедом моей соседкой оказалась мадам Жолио-Кюри, и мы очень интересно побеседовали. Вечером во время банкета, который устраивал король, мне сообщили, что он желает поговорить со мной. Он сказал, что хочет, чтобы Швеция объединилась с Норвегией и Данией против России. Я ответил, что в случае войны России с Западом русские могли бы войти в норвежские порты только через шведскую территорию. Король согласился с моим мнением. <...>

1950 год, начавшийся с вручения мне ордена "За заслуги" и закончившийся Нобелевской премией, ознаменовал апогей моей респектабельности. У меня даже возникло легкое опасение, как бы не попасть в правовеверные. Я всегда придерживался мнения, что уважаемые персоны порочны по определению, но мое моральное чувство настолько притупилось, что я не мог понять, чем же я согрешил. Почет и увеличившийся благодаря продажам "Истории западной философии" доход вселили в меня ощущение свободы и уверенности, что, в свою очередь, помогло мне направить энергию в желаемое русло. Я стал подозревать, что преувеличивал мрачность перспектив, ожидающих человечество, и решил, что пора написать книгу, где бы спорные вопросы получили более оптимистичное решение. Я назвал эту книгу "Новые надежды в меняющемся мире", и там я рассмотрел наиболее благоприятные из возможных перспектив. Я не взял на себя смелость предсказывать, какой вариант развития событий наиболее вероятен, лишь подчеркнул, что невозможно знать заранее, худом или добром обернется дело. <...>

Тем не менее мое беспокойство росло. Мне не удавалось заставить соплеменников увидеть грозящие человечеству опасности, и это тяжким грузом ложилось на мою душу. Может быть, боль обостряла радости, выпадающие мне на долю, но сама боль не уходила. Я чувствовал, что "Новые надежды в меняющемся мире" требуют тщательного пересмотра, — это я и сделал в книге "Человеческое общество в свете этики и политики".

Я обратился к этике, потому что меня часто упрекали в том, что, критически обзрев другие области знания, я не коснулся этических вопросов, если не считать раннего очерка, где я толковал книгу Мура "Principia Ethica". Я отвечал, что этика не является наукой. <...>

Главной моей мыслью была та, что этика есть производное от страстей, а путь от страсти к поступку нельзя определить как истинный или ложный. Критики обвиняют меня в излишней рациональности, но это не совсем так. Реальное различие между страстями оценивается с точки зрения их эффективности. Некоторые страсти ведут к успеху в достижении желаемого, другие — к поражению. Если в вас преобладают первые, вы будете счастливы; если вторые — несчастны. Таково, по крайней мере, общее правило. Это может показаться слишком слабым результатом исследования таких возвышенных понятий, как "долг", "самоотверженность" и прочее, но я убежден, что это единственный значимый итог за исключением того, что для каждого из нас человек, который ценою самоограничения приносит счастье многим людям, — более достойная личность, чем тот, кто приносит несчастье другим, а счастье лишь себе самому. У меня нет никакого рационального обоснования этой точки зрения, как и того, что желание большинства предпочтительней желания меньшинства. Это истинно этические проблемы, и я не знаю иных способов их решения, кроме политики и войны. Все, что я могу сказать по этому поводу, заключается в том, что этические соображения могут подкрепляться только этической аксиомой, но если аксиомы не существует, прийти к разумному выводу нельзя. <...>

Несмотря на то, что эта книга получила отзывы, о которых можно было только мечтать, никто не отнесся всерьез к тому, что в ней было наиболее существенным — к невозможности примирить нравственные чувства с этическими доктринами. Мысль об этом постоянно бродила в глубинах моего сознания. Я пытался разбавить свои соображения легкими материями, историями с элементами фантазии. Многим мои истории показались забавными, кое-кому — изысканными, но почти никто не увидел в них пророчества. <...>

Когда в 1944 году я вернулся из Америки, мне показалось, что британская философия пребывает в очень странном состоянии и занимается исключительно тривиальными вещами. Все только и делали, что разглагольствовали об "обыденном употреблении языка". Мне такая философия пришлась не по вкусу. У каждой отрасли знания свой словарь, и я не понимаю, почему философии должно быть в этом отказано. Я написал скетч, в котором издевался над культом "обыденного употребления". Когда скетч вышел в свет, я получил письмо от одного из заядлых сторонников этого направления, в котором тот писал, что всецело разделяет мой пафос, только не понимает, против кого он направлен, ибо ничего не знает о существовании такого культа. Как бы то ни было, я заметил, что с тех пор об "обыденном употреблении" стали говорить гораздо меньше.

Перелистывая свои книги сегодня, я замечаю, как часто для усиления воздействия прибегал в них к иносказаниям. Недавно, например, я наткнулся на такой пассаж во "Влиянии науки на общество":

"Мне кажется важным указать на то, что столь распространившееся ныне сомнамбулическое отчаяние носит иррациональный характер. Люди пребывают в положении человека, карабкающегося на труднодоступную вершину, на которой расстилаются благодатные альпийские луга. С каждым шагом перспектива возможного падения становится все более мрачной; с каждым шагом нарастает

усталость, и каждый шаг дается все труднее. И вот наконец до цели остается всего один шаг, но человек не знает об этом, потому что нависающие сверху камни мешают ему видеть. Утомление столь велико, что ему уже не хочется ничего, только отдохнуть. Ему кажется, что следующий шаг будет шагом к вечному покою. Надежда зовет: 'Еще одно усилие — может быть, оно окажется последним!' Сомнение парирует: 'Глупец! Сколько раз ты слушался голоса надежды — и вот куда она тебя завела!' Оптимизм говорит: 'Покуда есть жизнь, есть и надежда'. Пессимизм бурчит: 'Покуда есть жизнь, есть и боль'. Сделает ли человек последнее усилие или безвольно полетит в пропасть? Через несколько лет те из нас, кто будут живы, узнают ответ' ". <...>

(...)

Трафальгарская площадь

Первая конференция ученых — участников движения за мир и разоружение, при поддержке Сайруса Итона* состоялась в начале июля 1957 года в Пагуоше (Канада). Я не смог присутствовать на ней из-за возраста и по слабости здоровья. В 1957 году мне пришлось пройти подробное медицинское обследование, чтобы выяснить, что именно не в порядке у меня с горлом. В феврале меня ненадолго положили в больницу, чтобы определить, нет ли у меня рака. Оказалось, что нет, но меня продолжали обследовать, и я жил на манной каше и прочей детской пище.

(* Сайрус Итон (1883—1979) — американский промышленник; один из инициаторов Пагуошского движения ученых за мир, названного так в память о первой конференции, которая прошла в Пагуоше (Канада), месте рождения Итона.)

С тех пор я не раз ездил за границу, но ни разу не бывал в Пагуоше. Однако в 1958 году я посетил Пагуошскую конференцию в Австрии. После ее окончания мы с женой совершили путешествие на автомашине вдоль Дуная до Дурнштайна, который я мечтал увидеть с детства, когда бредил Ричардом Львиное Сердце. Потом мы вернулись назад в Вену. Это было похоже на путешествие в книжный мир моей юности; волшебная природа, доброта, простота и веселость людей меня обворожили. Возле одной деревни мы видели огромную липу, под которой жители деревни собирались поболтать вечерами и по воскресным дням. То было поистине волшебное дерево на волшебном лугу, буквально источавшее покой. <...>

Но вернусь к Пагуошской конференции. Пока работала первая конференция, я поддерживал с ней самую тесную связь, и вести, которые получал, меня радовали. Мы решили, что участвовать в ней будут не только физики, но также биологи и специалисты по общественным наукам. Всего участников было двадцать два — из Соединенных Штатов, Советского Союза, Китая, Польши, Австралии, Австрии, Канады, Франции, Великобритании и Японии. Заседания велись на английском и русском языках. Меня особенно радовало, что конференция продемонстрировала, как может быть достигнуто реальное сотрудничество — на которое мы и надеялись — ученых полярно противоположных "идеологий" и научных (не говоря о прочих) взглядов.

Конференция была названа Пагуошской, и ради обеспечения преемственности движение тоже стало называться Пагуошским. Был избран постоянно работающий комитет из пяти человек для организации следующих конференций. Меня выбрали председателем. <...>

Самым заметным достижением Пагуошского движения было участие в подготовке Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Сам я не вполне удовлетворен этим Договором, запрещающим только наземные испытания в мирное время. Мне кажется, что он скорее препятствует, чем способствует полному запрещению испытаний. Тем не менее он показал, что Запад и Восток могут сотрудничать ради достижения общих целей и Пагуошское движение может быть эффективным. Оно дало толчок всем последовавшим затем конференциям по разоружению, за работой которых мы теперь наблюдаем с изрядной долей скепсиса. <...>

В сентябре 1962 года состоялась очень представительная Пагуошская конференция в Лондоне. Я должен был рассказать об основании движения и предупредить друзей, что меня обязательно оштрафуют. Против ожиданий, аудитория встретила меня овацией. Это было мое последнее выступление на Пагуошской конференции. <...>

Чтобы отметить мой восемьдесят седьмой день рождения, мы проехали через Бат, Уэллс и Гластонбери в Дорсет. Мы посетили лебединый заповедник и сады в Эбботсбери, где нам посчастливилось увидеть павлиньи брачные танцы, — то был один из самых прекрасных и чарующих балетных спектаклей, которые я видел в своей жизни. Мы совершили сентиментальное паломничество в Рассел-хаус в Кингстоне, особняк XVIII века, где я никогда раньше не бывал. Жаль, что мне не пришлось там жить. Мне практически не свойственна зависть подобного рода, но прелесть Рассел-хауса тронула меня до глубины души. <...>

Движение гражданского неповиновения приобретало тем временем все более широкий масштаб. Группа молодых энтузиастов учредила Комитет ста. В феврале 1961 года он устроил сидячую демонстрацию перед министерством обороны, в которой приняли участие две тысячи человек. Предполагалось, что такие демонстрации будут устраиваться вновь и вновь, пока не приобретут действительно массовый характер. <...>

6 августа, в День Хиросимы, Комитет ста организовал два митинга — траурную церемонию с возложением венка возле Уайтхолла и митинг в Гайд-парке. На последнем полиция запретила нам пользоваться микрофонами. Но мы настроились обязательно использовать их — не только для того, чтобы нас было слышно, но и для манифестации гражданского неповиновения. Итак, я начал говорить в микрофон. Полисмен потребовал отключить его. Я игнорировал эту просьбу. Тогда он отобрал у меня микрофон. В ответ мы прервали митинг и объявили, что продолжим его на Трафальгарской площади. Что и было сделано. <...>

Месяц спустя, когда мы с женой возвращались из поездки в Северный Уэльс, у ворот дома нам преградил дорогу симпатичный и явно смущенный сержант полиции на мотоцикле. Он вручил нам обоим повестки, согласно которым нам надлежало явиться на Боу-стрит 12 сентября в связи с обвинением в подстрекательстве к массовому гражданскому неповиновению.

Мы поехали в Лондон, чтобы проконсультироваться с нашим адвокатом и поговорить с коллегами. У меня не было ни малейшего желания представлять себя мучеником, но я чувствовал, что этим случаем надо воспользоваться, чтобы обнародовать наши воззрения. Мы понимали, что наш арест наделает много шума. Мы надеялись, что он вызовет симпатию к нам и к нашим действиям. Мы заручились медицинскими справками о недавно перенесенных серьезных заболеваниях: как считали наши доктора, длительное тюремное заключение было бы для нас убийственным. Наш адвокат был уверен, что поможет нам с женой избежать его. Но нам хотелось извлечь пользу из создавшейся ситуации, и поэтому мы проинструктировали его таким образом, чтобы он попытался добиться

для нас заключения не больше чем на месяц-другой. В результате нам дали по два месяца, а по ходатайству врачей срок был сокращен до одной недели.

Когда около 10.30 утра мы с нашими коллегами пробирались сквозь толпу зевак к зданию суда, Боу-стрит походила на арену цирка. Люди выглядывали из всех окон, многие из которых были уставлены горшками с цветами. По контрасту с этой декорацией сцена в зале суда напоминала гравюру Домье. Когда был оглашен приговор, раздались крики "Позор! Позор! Осудить восьмидесятивосьмилетнего старика!" Это меня рассердило. Я знал, что результат был предreshен, что я умышленно навлек на себя наказание, и уж во всяком случае не видел никакой связи между обвинением и моим возрастом. Если на то пошло, возраст лишь усугублял мою вину. Я был достаточно умудрен жизненным опытом, чтобы понимать, каковы будут последствия моих действий. Вообще суд и полиция отнеслись к нам в высшей степени почтительно. Перед началом разбирательства полисмен обшарил все здание в поисках подушечки для меня, чтобы не так жестко было сидеть на скамье подсудимых. К счастью, ничего такого не нашлось, но я благодарен ему за доброе намерение.

К полудню были заслушаны обе стороны. Мы с женой возвращались в Челси. Мы опять нырнули из здания суда прямо в толпу, из которой ко мне кинулась неизвестная дама и заключила в объятья.

На следующий день огласили приговор. По мере того как его зачитывали, осужденных в алфавитном порядке отправляли в камеры, где мы вели себя как расшалившиеся школьники — пели, рассказывали байки. Напряжение спало, и мы уже ничего не могли предпринять, только ждать, пока "черные мариин" доставят нас к месту заключения.

Мне пришлось впервые путешествовать в "черной мариин", потому что после последнего ареста меня везли в Брикстон на такси, но усталость не позволила мне насладиться новизной. Меня поместили в больничное крыло тюрьмы, и почти всю неделю я провел на больничной койке. Ежедневно меня навещал врач, который следил, чтобы я получал необходимую мне жидкую пищу. Никто не может привыкнуть к заключению, если только оно не спасает вас от чего-то еще худшего. Это опыт страшный. Самое меньшее зло — дурное обхождение и физические неудобства. Худшее — общая атмосфера, ощущение, что ты каждую минуту находишься под наблюдением, пронизывающий холод и мрак, специфический тюремный смрад — и устремленные на тебя глаза сокамерников. Мы всё это испытывали в течение только одной недели. И при этом знали, что нашим друзьям придется жить в этих условиях много дней и ночей, хотя нам самим удалось этого избежать только в силу определенных обстоятельств, а не потому, что наша вина, если уместно вообще говорить о какой-либо вине, меньше, чем их.

Тем временем Комитет ста выпустил листовку с моим посланием из Брикстона. На обороте был напечатан призыв собраться всем сочувствующим в 5 часов в воскресенье 17 сентября на Трафальгарской площади, чтобы участвовать в марше на площадь Парламента, где назначалась сидячая демонстрация. К нашему с женой сожалению, мы не смогли принять участие в этой акции, потому что нас освободили днем позже.

Из событий частной жизни самым важным было мое девяностолетие.

Должен признаться, что день рождения 18 мая я ожидал с трепетом душевным. Только потом я узнал о том, сколько сил приложили мои друзья, чтобы устроить в мою честь грандиозный концерт. Я сам удивился, как приятно было мне оказаться в центре такого теплого дружеского внимания.

Сам день рождения мы отмечали за чаем в семейном кругу, с двумя внуками. На столе красовался торт, украшенный одной свечой. Вечером был обед, организованный Альфредом Айером и Рупертом Кроуши-Уильямсом в кафе "Руайяль". Друзья говорили речи. Айер и Джулиан Хаксли* произнесли очень теплые слова, Э. М. Форстер напомнил былые дни в Кембридже.

(* Джулиан Сорелл Хаксли (1887—1975) — английский биолог, философ.)

На следующий вечер был назначен банкет в Фестивальном зале. Мне сказали, что там будет музыка, но я не ожидал, что это будет так славно; оркестром дирижировал Колин Дэвис, солировала Лили Краус.

Формальное празднование состоялось на следующей неделе в палате общин. Я нервничал, не надеясь, что члены палаты захотят оказать мне честь. Но обед прошел в очень теплой и дружеской обстановке.

Фонд

<...> Когда-то мне казалось, что открыть людям глаза на опасность — задача не из сложных. Я разделял общий предрассудок, что инстинкт самосохранения может пересилить любой другой довод.

Выяснилось, что я ошибался. Оказывается, люди заботятся не столько о собственном выживании — тем более о выживании человечества в целом, — сколько об уничтожении своих врагов. Мы живем в мире, над которым постоянно висит угроза всеобщей гибели. Я опять-таки думал и, впрочем, не разуверился в этом и по сию пору, что, если показать, сколь велик риск тотального уничтожения, можно добиться желаемого результата. Но как продемонстрировать эту очевидность? Я перепробовал множество способов, с разной степенью эффективности. Прежде всего я испробовал довод разума, сравнив атомную угрозу с угрозой чумы. Мне сказали: "Как это верно!", но никаких действий не последовало. Я пытался воздействовать на отдельные группы, но это не получило достаточного резонанса. Я обратился к массам с призывом устроить серию маршей, но мне заявили, что это скучно. Я, наконец, прибегнул к гражданскому неповиновению, но и эти акции не возымели должного эффекта. Теперь я предпринял новую попытку — обратиться с воззванием одновременно к правительствам и народам. Покуда я жив, я не перестану искать новые возможности для выполнения своей задачи и завещаю продолжить эту работу моим единомышленникам. Только вот откликнется ли должным образом на эти усилия человечество — сомнительно.

В течение многих лет я пытался помочь преследуемым меньшинствам и невинно осужденным. Не могу, однако, утверждать, что мой щит освободителя узников остался незапятнанным. Много лет назад ко мне обратился молодой немецкий еврей-беженец.

Министры внутренних дел молча намерено выслать его из страны, а дома его ждала тюрьма. Он казался туповатым, но безвредным парнем. Я пошел вместе с ним в министерство. Там согласились не высылать его, но сказали, что ему требуется новый паспорт. Для этого он должен был ответить на ряд вопросов. "Кем был ваш отец? — Не знаю. — Кем была ваша мать? — Не знаю. — Где и когда вы родились? — Не знаю". Чиновники не знали, что делать. О себе он мог сказать одно — что он еврей. Уступая моему упрямству, чиновники все же выдали ему новый паспорт. Последнее, что я услышал об этом парне — он нашел верный способ добывать деньги: для этого надо обрюхатить английскую девушку, после чего просить государственное пособие.

В другой раз ко мне обратился молодой поляк с просьбой защитить его от судебного преследования по обвинению в написании непристойных стихов. "Поэт в тюрьме! Не бывать этому!" — подумал я и опять пошел в министерство внутренних дел. Потом я прочел кое-что из этих стихов, нашел их отвратительными, и симпатии мои были на стороне тех, кто пытался приструнить автора. Но к тому времени он уже получил разрешение остаться в Англии.

Хотя мне неприятно вспоминать эти эпизоды, я не жалею о том, что сделал. Мне представляется абсурдным прятать людей за решетку за глупость, которая не несет в себе угрозы обществу. Если довести этот принцип до логического предела, мало кто останется на свободе. А борьба с непристойностью с помощью закона и угрозой тюремного заключения таит в себе больше вреда, чем пользы. Она просто окутывает зло и глупость флером запретного соблазна. По тем же причинам я категорически против заключения в тюрьму по политическим обвинениям. Посадить человека в тюрьму за политические взгляды — значит способствовать их распространению. Что, в свою очередь, увеличит человеческие бедствия и подстегнет насилие, вот и все. <...>

Постскрипtum

Вся моя сознательная жизнь была посвящена двум разным предметам, долгое время остававшимся автономными и только в последнее время соединившимися в единое целое. С одной стороны, мне хотелось выяснить, можем ли мы достоверно познать окружающий мир; с другой — сделать все, что в моих силах, для улучшения этого мира. До 18 лет я почти всю свою энергию направил на выполнение первой из этих задач. Обуреваемый скептицизмом, я невольно пришел к выводу, что то, что считается достоверным знанием, на самом деле сомнительно. Я жаждал достоверности, как другие жаждали религиозной веры. Мне казалось, что наиболее достоверно математическое знание. Однако обнаружилось, что многое в этой области, полагавшееся неоспоримым, страдает недостоверностью и что для достижения достоверности необходима новая математика, основывающаяся на более твердых принципах, нежели те, что до сих пор считались достаточными. По мере продвижения по этому пути я все чаще вспоминал басню о слоне и черепахе. Изваяв "слона", на котором мог покоиться математический мир, я понял, что "слон" мой зашатался, и тогда я начал конструировать "черепаху", которая удержала бы "слона" от падения. "Черепаха" оказалась не более надежной, чем "слон", и после двадцати лет усердных трудов я пришел к выводу, что я не в силах сделать математику достоверной. Потом началась первая мировая война, и мои мысли сосредоточились на человеческом безумии и человеческих несчастьях. Ни то, ни другое не представлялось мне неизбежной судьбой человека. Я уверен: разум, терпение и красноречивая доказательность рано или поздно выведут человечество из мучительного тупика, в который оно себя загнало, при условии, что человечество не уничтожит себя по дороге.

Вера придавала мне известную долю оптимизма, хотя с годами этот оптимизм приобретал оттенок скептицизма, а благодатная цель отодвигалась все дальше. Тем не менее я никак не мог согласиться с теми, кто считал фатальной обреченность людей на страдания. Причины несчастий в прошлом и настоящем очевидны. Бедность, эпидемии, голод как следствия неумения человека совладать с природой. Сюда надо добавить войны, завоевания, гнет, насилие как результат враждебности человека к себе подобным. Несчастья, порождаемые темными желаниями, неутолимость которых ведет к жажде недостижимого процветания. Однако от всего этого есть средства избавления. В современном мире несчастья проистекают от невежества, дурных привычек, предрассудков, страстей, которые человеку дороже, чем счастье и даже сама жизнь. В наш мрачный век я знаю немало людей, возлюбивших свою нищету и смерть — их злит надежда, которую им пытаются предложить. Они считают надежду неразумной и, пребывая в бездейтельном отчаянии, ограничиваются созерцанием собственных бед. Я не могу следовать их примеру. Чтобы сохранить в нашем мире надежду, надо уповать на разум и энергию. Отчаявшимся чаще всего не хватает именно энергии.

Вторая половина моей жизни пришлась на одну из тех больших эпох человеческой истории, когда мир становится хуже и победы, казавшиеся бесспорными, оказываются недолговечными. В годы моей молодости викторианский оптимизм разумелся сам собой. Тогда думали, что свобода и благоденствие постепенно и естественно распространятся по всей земле, а жестокость, тирания и несправедливость будут занимать все меньшие места. Вряд ли кого-нибудь преследовал тогда страх перед большими войнами. Вряд ли кто-либо полагал, что XIX век станет всего лишь краткой интерлюдией между прошлым и будущим варварством. Для тех, кто вырос в той атмосфере, приспособиться к миру настоящего было нелегко. И не только эмоционально, но и интеллектуально. Идеи, казавшиеся истинными, обнаружили свою ложность. Не удалось сохранить некоторые дорого доставшиеся свободы. Другие же свободы, в частности в отношениях между нациями, сделались источником катаклизмов. Потребны новые идеи, новые надежды, новые свободы и новые ограничения свобод, чтобы вызволить мир из его опасного состояния.

Не могу утверждать, что сделанное мною в социальной и политической сферах имеет большую значимость. Сравнительно легко добиться видимых результатов с помощью догматических и ясных писаний типа коммунистического. Но я, со своей стороны, считаю, что человечество не нуждается в чем-либо догматическом и ясном. Точно так же я совершенно не верю в частичные доктрины, которые касаются отдельных аспектов человеческого существования. Одни считают, что все зависит от государственных институтов и что хорошие институты неизбежно принесут в мир вечное благоденствие. Другие убеждены в том, что нужно изменить сердца, а институты власти — дело десятое. Я не могу разделить взгляды ни тех, ни других. Институты формируют характеры, а характеры изменяют институты. Реформы в обеих сферах должны идти рука об руку. И если отдельные индивиды сохраняют ту меру инициативности и гибкости, которой они должны обладать, им не грозит быть остриженными под одну гребенку или, другими словами, стать винтиками одной машины. Разнообразие необходимо, несмотря на то, что препятствует всеобщему согласию. Призывать к согласию вообще трудно, особенно в тяжелые времена. Возможно, это станет эффективным только после того, как из трагического опыта будут извлечены горькие уроки.

Мои труды близятся к концу, и пришло время, когда я могу обозреть их как целое. Насколько я преуспел в них и в какой мере потерпел неудачу? Я с детства считал, что призван к решению великих и трудных задач. Почти три четверти века назад, в одиночестве гуляя по Тиргартену под холодным мартовским солнцем, я решил написать две книги: одну абстрактную, которая становилась бы все более конкретной, а вторую — конкретную, которая делалась бы все более абстрактной. Обе должны были увенчаться синтезом, где чистая теория сочеталась бы с практической социальной философией. Если не считать финального синтеза, который все еще ускользает от меня, эти книги я написал. Они были высоко оценены и признаны, они оказали влияние на ход мыслей многих мужчин и женщин. В этом

плане я преуспел.

Но в противовес этому достижению я должен поставить два поражения, одно внутреннего свойства, другое — внешнего.

Начну с последнего. Тиргартен превратился в пустыню; Бранденбургские ворота, через которые я ступил в него в тот мартовский день, оказались пограничным столбом, разделившим две враждебные империи, готовые гибель человечеству. Коммунисты, фашисты и нацисты поочередно бросали вызов всему, что я почитал за благо, и в борьбе с ними сгинуло многое из того, что их оппоненты стремились уберечь. Свобода стала считаться слабостью, а терпимость вынуждена была носить рубище предательства. Старые идеалы признаны бесполезными, и ни одно учение, не характеризующееся жестокостью, не заслуживает признания.

Внутренняя неудача превратила мою душевную жизнь в вечную борьбу. Я начинал свою сознательную жизнь с почти религиозной верой в вечный платоновский мир, где математика сияет совершенной красотой, как последняя песнь Дантова "Рая". Я пришел к выводу, что вечный мир — пошл, а математика — всего лишь искусство облекать одно и то же в разные слова. Я начинал с убеждением, что любовь, свободная и отважная, может победить без борьбы. Кончилось тем, что я поддержал ужасную войну. Так что и тут и там я потерпел поражение.

И все же под грузом этих поражений я ощущаю нечто, что кажется мне свободой. Может быть, я ошибался в понимании теоретической истины, но я не ошибался, веря в ее существование и в то, что мы должны идти к ней. Я ошибался, намечая путь человечества к свободе и счастью, но не ошибался, веря в возможность свободного и счастливого мира и в то, что стоит потратить жизнь на его приближение. Я жил в стремлении к идеалам — личному и общественному. Личный — ценить благородство, ценить красоту, ценить нежность; окрылять трезвые мысли мудростью инстинктивного прозрения. Общественный — видеть перед собой образ общества, которое надлежит построить, где люди развиваются свободно и где ненависть, алчность и зависть умрут, потому что им нечем будет питаться. Вот во что я верю, и мир со всеми его ужасами не поколебал мою веру.